ОТЦОВСТВО

Михаил Эпштейн

Роман-дневник

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги «Отцовство» — известный философ и филолог, профессор университетов Дарема (Великобритания) и Эмори (Атланта, США) Михаил Эпштейн. Несмотря на широкий литературный и интеллектуальный контекст, размышления автора обращены не только к любителям философии и психологии, но и ко всем родителям, которые хотели бы глубже осознать свое призвание. Первый год жизни дочери, «дословесный» еще период, постепенное пробуждение самосознания, способности к игре, общению, эмоциям подробно рассматриваются любящим взором отца. Это в своем роде уникальный образец пристального и бережного вслушивания в новую человеческую жизнь, опыт созидания уз любви и рождения подлинной семейной близости.

- Михаил Эпштейн
  - ○
  - ○ Предисловие
  - ○ I. Ожидание
    - ■
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
  - ○ II. Встреча
    - ■
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
    - ■ 8
    - ■ 9
    - ■ 10
  - ○ III. Тайна
    - ■
    - ■ 1

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

○ IV. Любовь
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

○ V. Рост
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

○ VI. Род
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

○ VII. Воспоминания
-
- 1
- 2
- 3
- 4

- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

○ VIII. Игра

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

○ IX. Разлука

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

○ X. Дедушки и бабушки

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

○ XI. Познание

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

- 9
- XII. Общение
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- XIII. Заповедь
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
- XIV. Вина
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- XV. Слова и шаги
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- XVI. Новая жизнь
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Послесловие
  - Олин вопрос
  - Священник Владимир Зелинский
- Указатель имен и мотивов
- Об авторе
- Об издательстве

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

Михаил Эпштейн
Отцовство

…Отцы семейств, эти великие авантюристы современного мира.

Шарль Пеги

Роман-дневник

Предисловие

Эта книга — о начале жизни, о первых двадцати месяцах: с момента, когда отец впервые слышит биение новой жизни в животе матери, — и до момента, когда подросшая дочь начинает ходить и говорить и родители решают завести второго ребенка. За это время происходит становление бытия из небытия — со многими приключениями, любовными коллизиями и трагедией взросления и отчуждения.

Авторы, пишущие о детстве, обычно обходят стороной или торопливо минуют самое его начало, как не выраженное в языке и не закрепленное в памяти ребенка. (Из всей русской литературы, кажется, только Сергей Аксаков и Иван Бунин оставили несколько драгоценных страниц[1].) Однако младенчество не прячет своих тайн, напротив, хочет раскрыться, для чего и приходит в этот мир, нуждаясь лишь во встречном движении нашего слова. Именно потому, что младенец не умеет говорить, вся ответственность за открытие смысла в его молчании ложится на близких.

Никакая другая ответственность не дарит столько удивительных привилегий, как эта. Перед нами словно бы выход в иное измерение. Не нужно никаких фантазий — достаточно дневника, чтобы обнажилась явь того опыта, который описывался мистиками всех времен, но в терминах более отвлеченных и туманных, чем реальность младенчества. Отцовство — ближайший и доступный каждому человеку, независимо от профессии и таланта, опыт прямой сопричастности миротворению. Становясь отцами, мы начинаем постигать тайну создания нас самих. Предварить эту книгу хочется словами апостола Павла: «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3: 9-10). Рождая и постигая новорожденное во всей его поражающей новизне, отец сам обнаруживает в себе образ предвечного Отца — и обновляется по этому образу вместе со своим творением.

Однако у этого преображения есть и другая сторона. Именно «сверхчеловеческое» в отце подвергает его множеству искушений, одно из которых — возвысить себя по отношению к ребенку до Отца с большой буквы. Философ Габриель Марсель спрашивал: «До какой степени отец может и должен воспринимать себя так, как если бы сам Бог наделил его властью над детьми?»[2] Таков один из главных вопросов этой книги[3].

I. Ожидание

Мужская опустошенность есть такой же способ вынашивания плода, как женская отягощенность; взамен дана нам легкость тела, как им — воспарение души.

1

5 февраля 1979 года. Наконец я услышал *его.* Это случилось на девятый день пятого месяца. Прильнул к животу. Сразу мне показалось, что тишина не такая, как раньше, — не сплошная, но полая, чуткая, будто в ней кто-то затаился. Еще вчера там была наполненность материнским, посюсторонним и звуки раздавались *отсюда* — хлюпающие, сосущие, это работал организм беременной. А сегодня пропало это ощущение близкого: там все расступилось и возник гулкий простор — молчащий, то есть способный заговорить. И мне так захотелось еще послушать это молчание, что я опять прильнул к животу.

И услышал. Если бы раньше, почти ежедневными вслушиваниями, я не приучил ухо к столь глубокой, бездонной тишине, то и не воспринял бы сейчас этого звука. Он дошел до меня на самом кончике слуха, почти неотличимый от шума моей же крови в ушах.

Больше всего это похоже на дыхание, только не стиснутое узостью горла и ноздрей, а вольно веющее по всему пространству; или на ветер, вдруг одушевившийся, обретший размеренность вдоха и выдоха. *Дух носился над водами… и тьма над бездною.* Что начало всемирного творения именно таково, я мог бы подтвердить всем слухом моим: там была бездна, и она дышала (о водах и тьме не приходится и сомневаться). Упругое набухание и опадание звука, прилив и отлив…

Что звук — волна, я тоже постигал впервые. То был, очевидно, шум его крови, уже циркулирующей в целостности организма. Значит, он стал собой, его жизнь уже выдает себя отдельным, узнаваемым звуком среди множества звуков материнского тела. Впервые он стал различим для меня, единствен.

Еще столь далек был этот звук, ощутимый на самом дне тишины, как тишайшее в ней, что поминутно я терял его и уже не знал, что слышу: кровь младенца или свою, тем громче приливающую к ушам, чем глубже я погружался в безмолвие.

И все-таки на самой границе слуха то и дело прорастала тишина, а за ней — четкий и мерный, словно бы обведенный в пустоте звук, гораздо более достоверный, чем размытый шум в ушах.

Так трудно через отцовский слух нарождалось дитя — но все же, наверно, не труднее, чем через материнскую плоть.

2

Что испытывает отец в эти девять месяцев ожидания, если он хочет и любит ребенка, — восторг, торжество? Нет же! В материнской утробе все полнится и набухает, наливается силой, а во мне — окаянная пустота, ноющая и сосущая. Такой тоски и ощущения бессмыслицы, как в эту долгую зиму, я не знал никогда… Работа из рук валится, сколько ни принуждаю себя, — и ведь последние житейски свободные месяцы, когда дано безмятежно работать. Но не отпускает дремотная праздность: чтение ненужных книг и газет, рассеянные взгляды в окно, шатание по квартире. Я даже задумал сочинять, обобщая свой зимний опыт, «Записки о хандре», но хандра-то и отбила меня от этого замысла. Я, впрочем, собирался показать, что хандра — это ощущение времени в его чистоте и незанятости, противоположность «заботе», которая всегда забегает вперед времени и укорачивает его. Мне же сейчас некуда избыть его, это равнинное, плоское, тягучее время, когда вся природа в трудах и хлопотах за меня, а я оставлен праздным соглядатаем. Жду, томлюсь, поглядываю на часы…

И особенно тяжко ощущать себя бесплодным рядом с Л., у которой новое ее положение вызвало небывалый духовный подъем. Она и трудится, и понимает, и вдохновляется вдвое больше обычного, словно эта вторая жизнь и ее за собой позвала и обновила. У меня же, наделенного не меньшей радостью, совместным ожиданием, что-то отнято, и весь я скомкан и отброшен, как лишнее, не идущее кделу. И не у меня одного такое упадочное переживание первых отцовских радостей. Недавно были у нас в гостях две четы, тоже ожидающие ребенка. Матери хлопотали на кухне, а мы, трое зрелых, бодрых и деятельных мужчин, обсуждали ощущения своего предстоящего отцовства. И глубину тайны почувствовали в том, что нас объединяло, в этой беспричинной тоске жить, когда жизнь удваивается… Жены, с их покоем и торжеством, не могли разделить нашего душевного бремени, как и мы не могли разделить их плотское бремя. Захотелось понять причину этой нашей общей подавленности. Разве не справедливо, что мы в душе носим ту тяжесть, какую они — во чреве? Мужская опустошенность есть такой же способ вынашивания плода, как женская отягощенность; взамен дана нам легкость тела, как им — воспарение души. Таков наш способ соучастия в делах природы: в ношении — как в зачатии. Нам — отдавать и опустошаться, им — принимать, чтобы порождать из себя избыток в жизнь. И если

покидает нас в это время и воля, и работоспособность, то роптать на это столь же нелепо и смешно, как на потерю семени во время зачатия. Еще древние заметили, что за соитием всегда следует тоска — малая смерть, пустота саморастраты. Но ведь беременность — это и есть продолженное соитие, отдача мужского женскому уже в становлении третьего, — соитие, растянувшееся на девять месяцев, и потянувшаяся вслед за ним небывалая тоска…

3

А весной, когда ждать оставалось всего два-три месяца, у нас с Л. началось общее уныние. Очень уж мы одинокими себя почувствовали — без него. Он жил уже своей отдельной жизнью в Л. — шевелился, толкался, а мы были еще далеки от него и томились в этой странной разлуке. Л. тоже стала переживать свою растущую обособленность. Ведь для матери рождение ребенка — это не только встреча с ним, но и в каком-то глубочайше плотском смысле расставание на всю жизнь. Я-то и раньше стоял в стороне, а теперь и Л. начала отстраняться — мы с ней вдруг составили компанию одиноких. Так нарастает чувство одиночества в праздник, когда все высыпают на улицу а ты остаешься дома. По мере того как все оживленнее становилось *там,* где бурлило и вскипало что-то неведомое, нам становилось все тоскливее быть только вдвоем. Мы скучали — а *там* шла настоящая жизнь. И насколько медленнее тянулись наши дни в сравнении с пролетавшими *там* столетиями!

Это чувство несоизмеримости его и нашего миров — гораздо сильнее, чем обыкновенная возрастная тоска, умиление цветущим детством и сожаление о своем увядании. Перед младенцем ощущаешь свою немолодость, перед нерожденным — свою нежизнь. И потянуло нас прочь отсюда — забыться, уехать, томительное время разменять на мелочь мелькающего пространства. Мы воспользовались испытанным способом развеять тоску — чайльд-гарольдовским, онегинским, с той только разницей, что они ощущали себя одинокими перед небытием, а мы вдвоем — перед инобытием третьего. Но тоска предсмертная и предродовая — много общего в этом ощущении собственной ненужности, в нервном ожидании, в стремлении рассеяться. А тут еще и весна в городе никак не начиналась — стояла уже середина апреля, но за окном мглило, шли мокрые снега, и эти предродовые тяготы природы сгущали томление, бередили и растравляли. Вот мы и задумали поехать навстречу весне, как бы ускоряя ее приход и тем самым внутренне приближаясь к развязке.

На седьмом месяце ожидания мы из Москвы перебрались в Ригу, чтобы оттуда начать планомерный спуск к югу — вплоть до Батуми, где очутились уже на восьмом месяце. От Балтийского моря до Черного, от рижской склизи и ледяной изморози — через пасмурный Минск, талые Сумы, зеленеющий Харьков, пыльный Ростов, цветущий Геленджик — до лазорево-теплого, млеющего на солнце Батуми: тут вся география должна читаться как

биография наша. Потому что внутри, в этой зарождающейся жизни, все менялось так же быстро, как и снаружи, — и тоже теплело, оживлялось, расцветало, как символы незримого, чревного.

И в этом стремительном путешествии, где каждому городу отводилось всего день или два, дорога горела под ногами, виды слипались и прикипали к зрачкам, — мы вдруг умиротворились. Наконец-то нашли способ существования, достойный младенца, соразмерный ему! Мы перестали извне наблюдать за его неукротимо стремящейся жизнью — и пустились вдогонку, если не поравнявшись, то сблизившись с ним в этой жажде обновления. Какое-то взаимодействие — поступок в ответ на поступок — установилось между нами. Он мчался через века, мы — через города и селенья; мы отставали от него во времени, зато увлекали за собой в пространстве.

Это соперничество с ребенком в скоростях, в завоевательном и победоносном чувстве жизни — не было ли оно предвестием будущих ревностей и распрей между внутрисемейными поколениями? Кто знает! Но сейчас главным было дать ему то, чего он, так уверенно растущий и берущий все от природы, не смог бы взять сам. Уже не ждать, когда он захочет встретиться с нами, — самим готовить эту встречу, открывать ему мир, прежде чем он головкой пробьет туда дорогу. Когда мы решали, какой город ему показать, какой цвет и образ забросить ему в подсознание, какой звук поселить в его памяти, когда мы выбирали красивые места для прогулок, добрых людей для беседы, создавая мир его будущих воспоминаний и смутных узнаваний, — мы были уже не вдвоем, а втроем, мы воссоединялись с ним. Мы уже не только слышали его — мы вступали в общение с ним. Такая у нас перед его рождением состоялась долгая встреча.

4

«И ты гоняешься за легкою весной, ладонью воздух рассекая»[4]. Нет, не только за весной мы гонялись в этом путешествии, но преследовали — по крайней мере я — еще и более определенную цель: побывать на родине предков. Отец мой родом из Погара, маленького городка в Брянской области, совсем не случайно попавшего в наш вольный маршрут на полпути между Минском и Сумами. Я давно тянулся к этим оборванным корешкам своего рода, но только теперь, в ожидании младенца, был приведен сюда чем-то высшим, нежели свое желание, — силою «дуговой растяжки»: начало требовало сомкнуться с концом. И вот я, по стечению обстоятельств — в день своего рождения, 21 апреля стою в центре Погара, на земле, исхоженной предками, и чего-то жду, на что-то надеюсь — словно в благодарность за то, что я приехал сюда, ко мне навстречу должна двинуться здешняя природа, обнять, приветить как родного или хотя бы подать тайный знак узнавания: вот основа и почва твоя!

Была ранняя, нежнейшая весна, а пыль на дороге уже клубилась тучами от проезжающих машин. Это шелушение земли, это замутнение воздуха — в обычае таких полупоселковых городков, где земля утрачивает здоровую жирность и комковатость — сохнет, болеет, распыляется. Не почва была у меня под ногами, а пыль, «пыль отечества», стягивающая лицо липкой маской.

От синагоги, где прадед мой служил раввином, ничего, конечно, не осталось. Зато сохранилась церковь, куда никто из предков моих не заходил; но даже такая точность со знаком минус была мне драгоценна. Собственно, никаких других знаний, кроме отрицательных, я и не рассчитывал приобрести, ведь ни место дома не было известно мне, ни прежняя планировка города — ничего. По сути, я приехал узнать то, чем *не было* это место для моих предков. Но уж это я узнал с пугающей точностью.

Мы и раньше много путешествовали: и на Севере бывали, и на Урале, и на Волге, в самых заброшенных городках, самых мусорных поселках, — но таких страшных, нечеловеческих лиц, как здесь, нигде не встречали. На улице Мглинской, где раньше стояла синагога, я случайно встретился взглядом с подростком — и ужаснулся: такая в нем животная немота и равнодушная злоба. Не ко мне, не к кому-то другому, а злоба вообще: к воздуху, домам, деревьям. Жгучий, режущий взгляд — он рассек меня и заскользил дальше, оставляя за собой кровавую набухающую

полосу. Почему-то подростки в таких местах больше всего и запоминаются — степень безнадежности, убитости в них резче, что ли. Детям почти все равно, где жить, они везде радостны; взрослые уже намертво приколочены к своему месту, а вот в подростках что-то еще упрямо корчится, пока жизнь их не перерубит…

Еще один запомнился мне: конопатый, рыжий, с растрепанными волосами, в редких здесь очках. Он шел среди сверстников, выделяясь сутулостью, диковинным цветом волос — оробевший павлин в стае диких и злобных уток. У него было то выражение растерянности и неловкости, которое придает даже глупому лицу выражение интеллигентности. И одновременно я уловил этакую нагловатую и жалкую попыточку быть как все — над чем-то он смеялся и рубил воздух рукой, словно уничтожая невидимого врага. И сердце у меня сжалось от беззащитности здешней души, от невозможности осуществиться по-своему. Единственный выбор для нее — между страшным и жалким. Я вдруг узнал себя в этом рыжем под ростке — да, в нашем роду ведь были рыжие. Мой отец остался бы здесь, женился бы на местной, и это я, его сын, возвращаюсь из школы, довольный тем, что меня слушают, а не бьют и не дразнят. В следующем году я буду поступать в авторемонтный техникум или финансовое училище… Верность роду, заветам, земле!.. Очертания прошлого, предначертания будущего — все эти призраки, пропитанные пылью и мглою здешних мест, воплотились в растрепанного рыжеволосого подростка, и я вздрогнул, словно очнувшись от страшного сна, когда мое настоящее наконец отделилось от этого возможного поворота судьбы.

А к вечеру того дня, проведенного на родине, почти перед самым отъездом, случилось со мной и долгожданное «знамение» — прямо и лично ко мне обращенное. В безлюдном магазинчике, куда мы зашли купить продуктов в дорогу, ко мне подошел огромного роста детина — придвинулся вплотную, мерно покачиваясь, и выговорил до неправдоподобия правильно, но без всякого выражения: «Интеллигент, кажется?» Я чуть было не ответил, как требует учтивость:

«Да, я такой-то, чем могу служить?» Но он не ждал ответа — придвигался все ближе и тяжело дышал, грудью уже почти упираясь мне в лицо, куда-то тесня, окружая меня и сверху, и спереди, и с боков необъятным своим телом. Л. взяла меня за руку и вывела из этого плотного окружения; очень быстро и вместе с тем крайне медленно, как уходят от опасного животного, стараясь не раздразнить и не увлечь его за собой, мы вышли из магазина. Через два часа поезд уже вез нас дальше, к югу.

Так я понял впервые, что ностальгия, погнавшая меня сюда, беспочвенна и неутолима. Есть тоска по далекой, заброшенной в другое пространство родине, но моя родина не где-то далеко — ее просто нет, она исчезла, растворилась во времени, и пыль, поднятая на улице Мглинской, там, где раньше стояла синагога, и есть ее рассеянный прах. Все эти мужчины с торопливыми повадками, громкой и уверенной речью, быстроглазые кудрявые дети, женщины, чьи руки бегают в такт разговору, — все они, окружавшие отца, смыты временем и обратились в тусклую, уже стершуюся память этих мест. И нельзя мне найти умиротворение в своих корнях, любовно обнять и прильнуть, потому что род мой — только во мне, и это ко мне прильнули и прилепились сейчас со всех небес мои предки: я — их земля. Тело мое и есть их родина, единственная родная точка в пространстве. И ко благу моему или горю, но нельзя мне искать свой род в прошлом, в земле — тут все чужое; да и не таким ли — печальным и опасным — было это место и для предков моих? Только собственная плоть и может утолить нашу жажду ласки и теплоты, каких мы тщетно ищем в почве. Мой род — в младенце, который спешит из будущего и уже приближается ко мне.

И не для того ли эти страшные маски вокруг — небывалые, несуществующие, *нарочно для меня* созданные лица, чтобы я тверже усвоил этот урок, обратясь от земли чужой — к плоти своей, от прошлого — к будущему? Ностальгия — эдипов комплекс пространства, тяга к кровосмешению с матерью-землей, к возвращению в родимое лоно. И меня, две тысячи лет назад утратившего историческую родину, кто-то по-доброму самым малым злом, учит обратить любовь и тягу к плоти своей живой, а не к призраку родины внешней, географической, какой бы она ни была. Свою родину мы из себя рожаем. А если так, то скоро Земля обетованная!

5

В тот день, когда явилась *она* ко мне из обморочного тумана, из страдания и страха, я впервые нашел в себе силы молиться.

Труднее ничего нет для души. Насколько легче и свободнее становится после молитвы, настолько тяжко и почти невозможно к ней приступить. Хочет раскрыться душа Всевышнему, а угрюмая привычка затворничества не пускает. Дверь открыта, тебя ждут — но тем труднее переступить порог. Не с кем бороться, но тем труднее признать себя побежденным. Наверно, это и есть то, что в старину называли гордыней; я бы еще сказал — собственничество. Жаждет наша душа владеть собой безраздельно, никому прав на себя не вручать. Сколько раз я чувствовал страшную тяжесть, которую мог бы сбросить одним словом молитвы, — но горло сжималось на пути этого слова. Для молитвы нужна какая-то отчаянная смелость, с какой отдают жизнь за близких, за родину, за самое святое. «Рвануть рубаху на груди — и под огонь». Когда же нельзя спасти своей жизнью: умрешь, но чужой боли не облегчишь, страданию любимого не поможешь, — тогда-то и остается отдать свою душу, доверить ее Богу.

Молитва, если отнестись к ней всерьез, — это нечто ужасное, то последнее, чему предшествует даже физическое самопожертвование. Молитва тоже есть принесение в жертву, только не тела, а души: вот, Господи, она Твоя! Отныне уже не я, а Ты ей хозяин.

Исторически так и было: на костер возлагалась жертва, а вослед ей воссылалась молитва. То — Твое, Господи, и это — Твое. Жертвенное мясо и молящаяся душа — все во власти Твоей; слово — как дым восходящий. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою: воздеяние рук моих, жертва вечерняя». Руки воздев, как языки пламени, воскуриться плотью, чтобы и душа, сгорая в молитве, могла небу свое последнее дыхание вознести. Тающим воском свечи и кадильным дымом стали впоследствии символизировать жертву, которая изначально приносилась на огне мясом животного, — однако и та натуральная, кровавая жертва была лишь символом лучшего, что человек «с кровью и мясом» отрывал от себя, от жизни своей и отдавал на заклание — в жертвенный дар Богу.

И видимо, сильна в нас память о той смертной муке, через которую дается истинная мольба (только сама мольба, а еще не милость), если тяжело на нее отважиться. Опасное в этом чудится — возможность кровавой расплаты. Ведь молиться — значит так

открываться и предстоять Господу, как после смерти предстоит душа, вышедшая изо всех земных укрытий. Готов ли ты умереть? — вот тайный вопрос, который мы слышим в душе, когда хотим расположить ее к молитве.

Так получилось, что совсем незадолго до этого июльского дня, в июне, я сильнее всего испытал необходимость и невозможность молитвы. Мы случайно оказались в молельном доме баптистов, где громовый проповедник с яростью и упрямством тащил наши души к себе — звал покаяться, и народ из переполненного зала, рыдая и вскрикивая, шел к нему, падал на колени и во всеуслышание исповедовался. И меня тянуло туда, в таинство развоплощения, где нагая представала перед Богом душа, — и страшно становилось от собственной решимости. Если я сейчас встану и втянусь в этот духоворот, уже не будет мне хода обратно.

Весь тот вечер у меня болела душа, растянутая на разрыв непосильным выбором. Чем ближе подступала к сердцу молитва, тем тяжелее было отдаться ей. Все тяжи, которыми душа удерживается в своей обособленности, натягивались до предела: нет, не пушу, останешься при мне. И особенно нехорошо было потом, когда мы шли по вечерним пустым улицам, такие отдельные и непричастные, и я не любил себя за то, что шел среди близких, а не остался с теми, кто воевал за Бога с собой и души своей не щадил. Мы были такие наглухо застегнутые — обсуждали баптистов и на сомнения свои отвечали тем, что, дескать, каяться, как они — громко и прилюдно, — это слишком легко, а нужно внутри себя, наедине с Богом, и т. д. И стыдно было мне это слушать и говорить, потому что я и совсем никак не мог молиться, ни с большей, ни с меньшей отдачей, — никак.

Я упрекал себя в малодушии, в том, что не кинулся навстречу проповеди, не присоединился к общему героическому порыву веры, — спрятался, близкими заслонился. Но то, что толкало меня в гущу молящихся и кающихся и требовало преодолеть свою уединенность, — не было ли это всего лишь проверкой себя на смелость, т. е. вовсе не смирением, а дерзостью перед Господом? Дескать, бери меня, я Тебя не боюсь. Этот ужас и риск предстояния перед Богом — не был ли молодеческой выходкой, когда бросаются в битву, чтобы себя испытать? Тогда некого мне было спасать, и как хорошо, что я не осмелился единственно ради доблести принести себя в жертву, но сохранил «первинок» — непорочную жертву души для своего первенца.

Думалось тогда, что я надолго, если не навсегда лишил себя возможности обращения: стоять так близко — и не посметь, не коснуться! — когда же еще, если теперь не смог? Но вот настал

этот день. С утра между нами уже не было телефонной связи, и она одна где-то в казенных, стерильных палатах, под холодом и блеском металла мучится и, может быть, умирает, и никто на всем свете не может ей помочь. И тогда без усилия и без сопротивления, а так обыденно, словно я делал это всю жизнь, я опустился на колени посреди своей уже нежилой комнаты, и лбом прикоснулся к пыльному полу, и сказал — сначала про себя, потом вслух, потом еще раз про себя — то, о чем не мог в эту минуту сказать ей.

6

С того страдальческого дня прошли месяцы — я два или три раза молился за это время, но уже не с такой верой, как в тот день, скорее, с упрямой памятью той веры, с надеждой на ее вечную правоту. Только в те часы и была прирождена душе моей молитва — по тому же закону, по какому в определенный, единственный час выпадает телу разрешиться от бремени. Моя молитва и ее роды — это было, по сути, одно общее содрогание, одна страшная схватка, так же как во время беременности стали единым ее чревная полнота и моя пустота сердечная. Всю свою жизнь я был безъязык перед Господом — горло сжималось на пути каждого слова; но вот стала разверзаться ее плоть… «и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога» (Лк. 1: 64). В один день и по одному произволению были распечатаны наши жизни; мое слово двинулось исходящими путями, как и плод в ней, и ее боль научила меня молитве.

«Господи, помилуй, выпусти моего младенчика из тьмы кромешной, подари ему Свой день. Ему — подари, у нее — не отнимай, не наказывай их за мои прегрешения перед Тобой, все возмездие Свое мне оставь!..»

«Вспомни щедроты Твои, Господи… грехов юности моей и преступлений не вспоминай…»

Эти слова (мои вперемешку с вечными), с усилием выходя, повторяли судорожный путь младенца, упорно толкались в преграду, чтобы проторить ему выход к свету. Молитва — те же роды, те же потуги души, когда исторгается из нее нечто вызревшее и таимое, — с кровью разверзаются тесные недра, и Господу вручается наконец то, что было Им растимо. Тот же страшный напор внутренних сил — и необходимость сокрушить себя, чтобы выпустить их наружу; тот же плач и расслабление… Победа над собой — не гордая и не добровольная, а почти что вынужденная и повинная, с дрожанием каждой мышцы, измученной в борьбе.

«Господи, отпусти!» — а по телефону ровный голос из справочной каждые полчаса: «Нет, пока еще нет».

В Книге Ветхозаветной стал я читать вслух о субботе (было это в субботу): «Благословил Господь день субботний и освятил его…» Чувствую: губы уже не слушаются, язык не ворочается — из уст уже нейдет ничего, как там — из чресел, только дрожь колотящая, почти что обморок… Этот стол, на котором лежала Библия, и был предназначен мне как родильный, чтобы слово —

первое в жизни, единственное из бесчисленных моих слов — смогло бы воистину стать плотью.

7

Из всего Писания, которое я почти непрерывно читал в тот день, меня особенно поразило одно место: «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7: 14). Я-то все время думал о том, как она рожает, как трудно ребенку из утробы выйти в наш мир, как вообще мучителен путь из небытия в бытие: через мириады невостребованных к оплодотворению, гибнущих семян, через непостижимую зыбкость и шатание мировых устоев, из которых внешняя, социальная среда, при всей своей удушающей тесноте, — еще самая, быть может, благоприятная для выживания. Сколько гибнет их там, в темных океанических недрах жизни, в хаосе первобытного вещества, в причудах и зверствах эволюции! Да, Твоя правда, Господи: «узок путь». И маленький, поспешающий к нам тысячей долгих, темных, извилистых путей, где легко затеряться и пропасть навсегда, — вот перед ним, уже почти дошедшим к нам, и встали эти самые тесные врата. И бедная моя там одна: через ее плоть и ведет этот узкий путь. Мать, выносившая плод, теснит его своей плотью, с трудом выпуская в жизнь; а он разрывает ее плоть, раздвигая врата… Даже тут, на выходе к жизни, — борьба, и между кем — матерью и дитятем, самыми близкими существами. Господи, выпусти!

II. Встреча

Первое, что я почувствовал, вглядевшись в нее, — это мгновенное ускользание своего «я», странность самопропажи. Что-то вроде двойничества промелькнуло между нами: если это — другой, то кто же тогда я?

1

Когда и где я впервые увидел *её*? Двадцать первого дня седьмого месяца 1979 года, в семь часов вечера, в окне на четвертом этаже серого блочного дома, на московской окраине, в Матвеевском. Было ей всего три часа от роду. Черты ее были смутны и, казалось, не только из-за отдаления — матовая, рассеивающая оболочка еще не спала с нее, и только голова виднелась в проеме окна, какая-то одутловатость, припухлость; остальное отступало в непроглядный туман. Это очертание головы так и осталось в ней главным моим подобием — но потом-то оно растворилось во множестве других замечательных подробностей (уже не моих): волос, глаз, ушей…

Первое, что я почувствовал, вглядевшись в нее, — это мгновенное ускользание своего «я», странность самопропажи. Я даже сделал мысленно какой-то жест, будто ощупывая карманы, — не потеряно ли что? Этим «что» был я сам, вдруг исчезнувший неведомо куда с тою же непреложностью, с какой она вдруг появилась неведомо откуда. Так долго я в нее вглядывался, ища и находя в ней себя, что себя-то на миг и потерял, вплоть до кружения головы и почвы, уходящей из-под ног. Что-то вроде двойничества промелькнуло между нами, с его жутким, многократно описанным эффектом первого узнавания: если это — другой, то кто же тогда я?

Лишь потом, не сразу, я научился различать ее и свое место в мире… Но первое недоумение оказалось в каком-то смысле прозорливым: во мне с той поры и впрямь наметился крен к небытию, к стиранию своего «я»…

Так я впервые увидел ее — слегка ослепленный напряжением собственного взгляда. Из-за тридевяти земель мы встретились, и встреча наша была призрачнее иной разлуки: и расстояние между нами, и ее сон — все разделяло нас. Но мы были уже на одной земле, нас уже освещал один вечереющий июльский свет, и этих немногих общих примет было достаточно для первого свидания.

2

Не только в первых моих воспоминаниях, но и на первых фотографиях ее черты неуловимы, неузнаваемы. И снимки-то получились неудачные — серые, сырые, размытые, но это лишь внешне проявляет неотчетливость самого лица: с какой точки ни снято, все чего-то не хватает для ясного впечатления. Кажется, что главное на снимках не получилось, ушло куда-то в тень: невыявленность целого. Как будто нет в пространстве такого фокуса, откуда ее черты могли бы обрести резкость. И на всех этих снимках, сделанных «сгоряча», на пятый день ее жизни (сразу по прибытии из роддома), — разные лица, несводимые к одному: чем-то похожие то на лягушонка — с растянутым ротиком, то на воробушка — с острым носиком-клювиком и быстрыми глазками, то как на портрете Э. Т. А. Гофмана — лицо узкое, слегка одутловатое и брюзгливое.

Вообще, вся она в первые дни и недели своей жизни являлась мне из какого-то далека — смутно, будто сквозь сон. Она и в самом деле спала почти все то время, и лицо с закрытыми глазами было словно и для меня закрыто, обращено в себя, уходило в тень сомкнутых ресниц. Хотя я и подолгу разглядывал ее вблизи, между нами оставалось неодолимое расстояние; вся ее начальная пора проходила под знаком той первой встречи, когда я видел ее за стеклом, сквозь густеющий вечерний воздух.

Даже дневник, заброшенный в день ее рождения, я возобновил позже, когда ей уже исполнился месяц, а все более раннее погружено в дымку воспоминаний. Почему я не писал сразу, с первых дней? Домашние перестройки, переезд на дачу, болезни, хлопоты? — нет, не внешние обстоятельства отвлекали меня от нее, но сама она была еще чем-то совсем отвлеченным. И так оно, видно, и должно быть: вокруг этого темного провала в инобытие туман клубится, и не нужно, да и не под силу нам его разогнать.

Когда я вглядываюсь в эти первые, робкие ее очертания — на снимках или в памяти, — меня покидает чувство реальности, я уношусь в область каких-то мифических преданий, где персонажи легко переливаются друг в друга, меняются обликом, плывут и колышутся, как облака. И даже самое реальнейшее — документ, этот вечный враг и разоблачитель мифа, — в данном случае только подтверждает его. Представьте, что на снимке показан момент превращения Зевса в лебедя: не скульптура или фреска, а то, как это было на самом деле. Какой-то фотограф-любитель путешествовал по островам греческого архипелага и вдруг напал

на сенсацию. Но ведь у меня в руках, на ее ранних снимках, такое же подтвержденное чудо: вот деточка-лягушечка, вот — воробышек, вот — писатель Гофман… неправдоподобие облика, выдающее правду о продолжающихся метаморфозах.

3

Кстати, откуда у маленьких детей и первобытных народов мифологическое, с нашей точки зрения — причудливо-фантастическое, восприятие действительности? Не оттого ли, что их предыдущая жизнь — в утробе, до рождения — такой и была и еще свежа в их памяти: непрерывное перевоплощение из одной формы в другую, сквозной пролет по всем ступеням животного царства? Изучение зародышей раскрывает не менее широкие возможности сращения и превращения форм, чем фетишистские и анимистские предания древности. Собственно, эмбриология — это и есть научно подтвержденная мифология, учение о метаморфозах всего живого, только не под солнцем, а под солнечным сплетением. Однако ведь и нет непроходимой грани между двумя мирами: рождаясь, младенец переносит с собой законы одного в бытие другого. Вокруг него — уже просторный, напоенный воздухом и осиянный солнцем мир, где каждое существо — «особь» — живет само по себе. А младенец еще во многом подвластен законам внутрителесного пространства, где «все становится всем», одна и та же форма жизни, как в мифе или сказке, проходит множество внутриутробных превращений.

Мифология — это эмбриология земного бытия, это утробные превращения в нашем прерывном пространстве, это зародышевое — в рожденном, обмен логиками двух миров — нутряного и наружного. Поэтому естественно, что раннее детство, когда два эти мира теснее всего накладываются друг на друга, есть самая мифологическая пора: младенец мифически воспринимает окружающий мир и сам мифически воспринимается им. Его полупрозрачные тельце и личико просвечивают фантастическими формами инобытия.

Мифология примерно так же связана с рождением, как философия со смертью. Сократ говорил, что философ — это человек, который всю жизнь учится умирать, его девиз — *memento mori:* помни о смерти. И в самом деле, философия имеет дело с чистыми понятиями и сущностями, уже освобожденными от плотской изменчивости и многообразия, скинувшими свою земную оболочку и приобщенными к вечности, как и душа, покинувшая свое бренное тело. Мифология, напротив, обращена к началу, к сотворению мира, где вещи находятся в бурном, расплавленном состоянии. Они еще даже не разделились, не обрели устойчивых очертаний, не подчинились формально-логическим законам тождества, противоречия и исключенного третьего. «А» не равно себе и не противоречит «не А». Мифология

— это бушующая магма, огненные, рождающие недра земли, тогда как эмпирическая наука — охлажденная, доступная обзору и измерению поверхность, а философия — это чистое, бескрайнее небо, куда уходят души умерших. От мифологии — через эмпирику — к философии идет постепенное замедление всего хода вещей, их остывание, разграничение и, наконец, полная остановка и вечное равенство себе. И если философия — это приготовление к смерти, привнесение ее отрешенности и покоя в жизнь, то мифология — это верность чреву, перенесение зародышевого бурления и неистовства в мир рожденных.

В противоположность старцу-философу, хладнокровно выпивающему чашу с ядом, символом мифологии можно представить младенца, жадно прильнувшего к материнской груди. Девиз мифологии — помни о рождении, *memento nasci,* пронеси через жизнь память о внутриутробных превращениях и ту волю к чудесному, которая создала тебя самого. Мир — все еще не остывшее чрево, неистощимое в волшебствах образования и преображения вещей.

4

Теперь я могу хотя бы отчасти уяснить для себя и жанр, в котором пишу. Сначала мне казалось — просто дневник, куда прилежно заносятся подробности каждого дня. Пособие для будущих воспоминаний. Но слишком много фантастических домыслов и бездоказательных аналогий сразу проникло в мой дневник, угрожая нарушить аскетическую чистоту его жанра. Отказываться от всех этих умозрений я не могу, потому что без них ничего не понимаю в самих текущих событиях, их ошеломляющей новизне. Так, все более и более отступая от документальной строгости, я прихожу к догадке о *мифо-логике,* то есть о логике тех внутриутробных превращений, которые во многом еще подчиняют жизнь новорожденного существа.

То, что я пишу, — это дневник и вместе с тем свод мифологических преданий о незапамятных временах, о сотворении человека, о начале начал, теряющемся во мгле небытия. Происхождение мира в свидетельствах очевидца. Документ о метаморфозах. Правда о превращениях. Ложь всех определений. Мифологический дневник. Эмбриологическая летопись. Все это — приблизительные обозначения одного и того же жанра, который, в сущности, также зыбок, малоопределен и многообещающ, как и все, что едва-едва родилось, в чем брезжит еще туманность зародыша-замысла.

5

Вот я, склонившись над ней, разговариваю, а она что-то гулькает, улыбается в ответ — и вдруг подается ко мне всем тельцем и взмахивает ручками. И часто-часто так делает, словно пытаясь взлететь, — не чуя земли и вручая себя воздуху, как будто сами эти стихии еще не разделились для нее. Второй и третий дни Творения, наверно, еще впереди.

Главное в искусстве взлета — это умение с такой легкостью отдаться воздушной стихии, чтобы она сама тебя подхватила. В какой-то миг важно замереть, остаться без сил, отказаться от усилий. Рвутся вперед лишь существа, обреченные на тяжелый, прерывистый шаг. И в ней есть это замирание — свойство, рождаемое привычкой ко сну, который близок таинству полета, невесомого, заоблачного парения. Во всех ее жестах есть та беспрепятственность и окрыленность, с какой делается только нечто прекрасное, легкое и безошибочное.

Однако она ничуть не обижается, когда воздух обманывает ее доверие и притяжение мягко забирает ее назад. Ни возмущения, ни борьбы, ни удрученности своей неудачей! Словно ей и птицей естественно быть, и от самой себя, от своего человеческого груза она отказываться не хочет, и ей даже нравится чередовать эти два состояния. Туда — сюда, вверх — вниз, взлет — падение… Уж не первая ли в жизни игра с уготованным самой природой партнером, которого обретаешь, едва родившись на свет, — с земной тяжестью?

6

Теперь, когда *я* пишу *она, ее,* с *нею, я* ощущаю всю меру женственности, заключенную в этих словах. Ведь раньше, до ее рождения, мы думали только *он, его.* Несмотря на все приметы и разуверения искушенных женщин, Л. упорно чувствовала в себе сына и почти не поверила своим глазам, когда акушерка показала ей девочку. «Не ошибка ли? Мой ли это ребенок?» — первое, что пронеслось в голове и от чего кольнуло сердце. И у других наших знакомых женщин почему-то было, как правило, предчувствие мальчика, даже если хотели девочку.

Может быть, это ощущение мужского плода неотделимо от самой природы беременности? Мужчина входит в женщину и остается в ней семенем — естественно ей и ощущать в себе мужа, его уменьшенное подобие — сына. «Понести от мужа» его частицу, его плоть и кровь — значит понести мальчика, по пословице «Что посеешь, то и пожнешь». Рождение девочки слегка озадачивает: это как бы внеполовой способ размножения, без участия противоположно заряженной силы. Женский организм воспроизводит себя, как соматическая клетка, — самоделением, а не совокуплением, как клетка половая. Словно и не было никакого мужчины, и женщина одна, сохраняя свое девство, произвела подобную себе. Вот почему по обычаю отец чаще хочет сына и гордится им как свидетельством своей мужской силы и власти над женщиной: победил в любовной борьбе, утвердил в ее лоне себя — свое подобие… Тогда как девочки чуточку стыдится, словно проявил слабость — жена и без него могла обойтись в таком простом деле: взяла и раздвоилась. Такова безотчетная мифология.

И сам я попался в эту маленькую ловушку. Когда улеглось первое, не знающее границ ликование, я ощутил нечто целомудренное и смиренное в том, что родилась девочка. Это был свет, а не огонь, это не жгло, а сияло — холодноватым голубым светом. Я испытывал не восторг победы и самоутверждения, а благодарность приятия, удостоенности, словно не сам я это сделал — это было сделано *для меня.*

Я не понимал тогда, какие возможности открываются мне именно благодаря моей изначальной «непричастности». Действительно, в сыне резче ощущается «зачаточное» влияние отца, по праву гордого своим маленьким подобием. Но не заложено ли в этом изначальном, чересчур самолюбивом торжестве предвестие будущих обид и отступлений? Я говорю о тех отцах, в которых рождение сына укрепляет самодержавный

образ мыслей. С женщиной у него до сих пор была только семья, а с первым мужчиной, подданным, сыном, у него появляется и государство. Маленькое, домашнее, очень удобное: режим геронтократии.

Рождение дочери не располагает, слава Богу, к диктаторским замашкам, пробуждая скорее рыцарские инстинкты. С появлением дочери в семью привносится что-то новое, но не государство как следующая за семьей ступень социальной жесткости, а, наоборот, предшествующая семье форма существования — «роман», беспечная и мечтательная влюбленность отца и дочери. Не имея основания гордиться своим подобием как уже чем-то достигнутым, завоеванным, отец в лице дочери получает другую возможность — предчувствие будущих узнаваний, сближений и встреч.

Но это еще впереди — пока я лишь испытываю вдруг ожившую, освежающую прелесть слов: *она, ее, с нею.* И самого главного слова, женственного от первой до последней буквы, круглого, мягкого, певучего, произносимого так, будто целуешь воздух: ОЛЯ.

7

До рождения Оли мы не только были уверены, что у нас родится мальчик, но и представляли его себе определенно. Худой, с удлиненным лицом, созерцатель, странник, бредущий по миру с рассеянным взором и от всего немножко далекий. Такой образ сложился из «его» слабых толчков, утробной кротости. А получилось совсем иначе: плотная, упитанная девочка, круглолицая, деловая, очень упорная, все время чем-то занятая. Не только другой пол, но и противоположный характер.

Уже в этом должен быть какой-то смысл, прямо к нам обращенный: одно дело — ошибиться, другое — вообразить ровно наоборот. Что это? Удар по нашей рассудочности, привычке управлять природой? А может, это не против нас, а за нас, в защиту от самих себя? Ведь мы, в сущности, представляли своего будущего ребенка таким, будто он не от нас, а от других родителей. Людей привлекательных, но загадочных и чужих. Ну в самом деле, откуда у нас мог родиться худой, отрешенный, беспечно-рассеянный, с удлиненным лицом — в кого? Это, скорее всего, было блуждание нашего духа, которому мы придали зримые очертания, — духа мечтательного, который как бы отталкивался от того, что мы есть на самом деле. Ребенка мы неосознанно представляли совсем на нас непохожим, искуплением нашего несовершенства. А получилось — именно в плоть и кровь нашу, и так оно и должно быть: чтобы мы не мечтали от самих себя отделаться, чтобы мы *свое сумели полюбить.*

Кажется — трудная ли наука! Но ведь большинство родителей так и считает, что дети им даются для исполнения несбывшихся надежд, для переиначивания своей неудавшейся судьбы. Чего нет во мне — пусть будет в нем. За мои недостатки пусть ему воздастся. Но может быть, ребенок для того и дается, чтобы мы, недовольные собой, вдруг сумели бы полюбить себя, точнее, полюбить в ребенке то свое, что мы в себе не любим. Хорошо ли это — любить себя и свое? не гордыня ли? Теперь я думаю, что гордыня — это НЕ любить себя, каков есть, роптать на Бога, взывая к лучшим дарам, иной участи.

И вот дети нам даны, чтобы мы к себе обратились, руки свои загребущие и глаза завидущие от чужого бы отвели — и вдруг восхитились бы тем, что в нас самих заложено. В труде нашего самоуважения дети — первые помощники. Ведь невозможно в своем ребенке не полюбить даже и того, что в себе не нравится: и неказистости, и норовистости, и родимых пятнышек — тут всему

сыщется оправдание и умиление, словно забытый смысл просвечивает сквозь груду случайных подробностей. В ребенке мы видим себя как на переводной картинке: что казалось тусклым и скучным, здесь радует чистым блеском.

Я бы так определил родительство: искусство примирения с собой.

8

У нас по-прежнему бывает много гостей, но мы впускаем их как вернувшихся домой хозяев — сами знаете где и что, распоряжайтесь! Действительно, они хозяева в этой жизни. Новорожденный — вот кто настоящий гость, вокруг которого сразу начинается праздник и обряд гостеприимства: борются за его внимание, смеются, умиляются, оживление не сходит с лиц. И это всегда и везде, где есть маленький ребенок, — он поневоле вызывает, даже у совсем посторонних, ту улыбку, с какой хозяин распахивает дверь перед гостем: восторженные возгласы, удивление, дружеское похлопывание.

Видимо, эта радость при виде ребенка и есть феномен гостеприимства, возведенный в мистическую степень. Принимая его, прибывшего из страшного далека, неведомыми и опасными путями, мы совершаем великое таинство, приобщаясь к высокому сану Хозяина. Мы ничего не жалеем для пришельца, потому что своей абсолютной беззащитностью и неискушенностью он пробуждает в нас милосердие. Самый заурядный и неприметный становится в его присутствии всеведущим и полновластным хозяином, настолько этот малютка — подлинный гость, пришедший к нам не из другого дома, а из безжизненной пустоты. Скудное имущество мира сего умножается, когда дарится неимущему. И этот праздник в обстановке изобилия не кончается, потому что если все другие гости быстро обвыкают и чувствуют себя «как дома», то этот — надолго, всему удивляется и всех удивляет.

Знаменательно, что наибольшим почетом дети окружены у тех народов, которые славятся гостеприимством. Например, в Закавказье высшая почесть воздается всем приходящим — из дали пространства и глубины времени. Все лучшее, неограниченная свобода и изобилие — новоприбывшим, себе в утеснение. Они издалека, им нужнее. Таков общий расчет жизни — на чрезвычайные обстоятельства странника.

Призрением скитальца мы подтверждаем нашу собственную оседлость. У Гёте есть стихи:

> И доколь ты не поймешь:
> Смерть для жизни новой,
> Хмурым гостем ты живешь
> На земле суровой[5].

Это о подготовке к отходу *туда,* но это правда и по отношению к жизни, приходящей *оттуда.* Вот и я жил «хмурым гостем», пока не пришла новая жизнь и не превратила меня в хозяина. Так понять гётевскую «новую жизнь»: как рождение ребенка, а не собственное воскресение («смерть — для жизни новой»), — мне пока легче, да ведь и означает это, по сути, одно и то же. Старик ли отправляется в мир иной, младенец ли приходит из мира иного — важно по-домашнему обосноваться в вечности, а не сиротски сидеть у порога.

Не покидая эту землю для иных краев, а принимая на ней далеких пришельцев, наиболее достоверно укрепляешься в своем чувстве хозяина. Ты гость, пока сам не принял гостя.

9

Присутствие младенца в доме всегда можно ощутить по его дыханию. Этот долгий, шелестящий звук, будто пальцами проводят по шелку, устойчивее и памятнее всех прочих моих впечатлений от ранней поры. Как дождь — звук осени, так дыхание — звук младенчества. Даже когда Оля вдруг затихает или погружается в сон, все равно эта тишина наполнена плавным шелестом, как будто кусочек леса с дуновением ветра поселились в комнате.

Младенец дышит явственно, в отличие от взрослого, умеющего дышать незаметно, и в этом напряжении сил, вложенных в легчайшее дело, есть прелесть ответственного и трудолюбивого отношения к жизни.

У Бунина в рассказе об Ольге Мещерской говорится, что главная прелесть молодой женщины вовсе не в чертах лица, не в формах тела, а в «легком дыхании». Неслышность обращения с воздухом, как будто она сама из него состоит. В моей же Ольге умилительно как раз то, что она дышит веско и основательно, втягивает воздух, как густое питье, вкушая саму плоть мироздания. Это хлюпанье, посапывание, причмокивание, это упорное освоение прозрачной и невесомой субстанции, сласть и нега, извлеченные ниоткуда, рвение, направленное в никуда, — воздух, блажь, безделка… Во всем этом старательном и торжественном обращении с легчайшей из материй ощущается достоинство жизни, которая значима сама по себе, независимо от того, чему она служит и какие задачи выполняет. Если взрослая женщина притягательна тем, что тяжесть земного бытия в ней убывает, растворяется в кружевах, оборках, легкой поступи, легком дыхании, во всем воздушном облачении ее существа, — то маленькая очаровательна своим наивным усердием, той важностью, с какой она просто дышит, выполняет первый свой земной труд.

Оттого еще так приятно слушать дыхание ребенка, что тут звучит сама первооснова жизни — не произвольные, обрывистые наши речи, а само мироздание в его вечном трепете расширения и сжатия. Дыхание — тот рубеж, переходя который жизнь обращается в свою губительную противоположность. Плоть без дыхания мертва, но то, что она делает помимо дыхания, как-то мучительно, хитро и хищно. Жует, бежит, хватает, кромсает — всюду что-то поглощается, попирается, отбрасывается, всюду борьба и взаимное зло. И только дыхание ни на что не покушается, никого не терзает — лишь питает и животворит.

Дыхание — воплощенная справедливость: что беру, то и даю. Вдох — выдох, мир во мне — я в мире… Полное равновесие внутреннего и внешнего, без взаимных обид и притеснений. Самодостаточность, ненасилие… Как жизнь легка, когда она вся сосредоточена в легких, в замкнутом круге, и не пытается разорвать его ни для трудового вторжения в окружающий мир, ни для вкушения яств этого мира. Недаром они — *легкие,* только ими-то и живется легко.

Не к этой ли легкости устремлен и Лермонтов в одном из самых пронзительных и загадочных своих стихотворений «Выхожу один я на дорогу…»? Уйти от боли и труда жизни, но не в смерть, не в бездыханный покой… Только дышать — и ничего больше, жить на минимальном пределе, безвредно для других, безбольно для себя, — просто жить.

Я бы хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь…

Что это за странность — жить одним только дыханием? Где дано человеку так неподвижно спать, если не в могиле? Да в колыбели! Это младенец так живет — безмятежно, во сне, одним лишь дыханием. Вот лежит он в своей постельке, грудь чуть вздымается и опадает, вырисовывая ребрышки, а все тельце неподвижно, словно не желает участвовать в многотрудной жизни: ни погоней, ни бегством, ни одинокой ходьбой по пустынной дороге — ничем, кроме тихой радости дыхания. И дальше:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

Тут все колыбельно, все представимо лишь через младенца: ему, лежащему в колыбели, колыбельную и поют, лелея слух любовным напевом (как у самого же Лермонтова в другом стихотворении: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю»). А дуб, склоняющийся и шумящий, — ведь это голос того же ветра, поднебесного дыхания, которое частичкой своей замкнуто и в человеческой груди. И как щедро дышит дерево, даря человеку

все, чем он жив! Так что лежать под вечно зеленеющим дубом — это прильнуть легкими к легким, встретить вдохом чистейший кислородный выдох, найти для себя неиссякающий источник дыхания, жизни безбольной и безбрежной, как сам воздух. Так все смыкается у Лермонтова в прекраснейшую утопию, прообраз которой — колыбель.

А вот и реальное воплощение этой картины: детская коляска стоит у нас в саду, под шелестящей листвой. Оля спит, я сижу рядом и, стоит ей встрепенуться, чуть покачиваю коляску, что-то мычу или мурлычу, чтобы она и дальше так же ровно дышала. Именно так, как описано в стихотворении, она и прожила на даче больше месяца, с августа по сентябрь, только не под дубом, а под яблоней, да и голос, певший ей о любви, не так уж был сладкозвучен.

Я всегда любил это стихотворение Лермонтова, но плохо понимал его последние строки: они мне казались смутными и значительно уступающими началу где пронзают боль и одиночество взрослого человека, бредущего пустынной дорогой, чуждого всему мирозданию. Таким я, наверно, и был, пока не очутился в этом саду, где все только дышит и сливаются все дыхания: ветра, дерева и младенца.

Вот и сам я часто подхожу к ней, просто чтобы подышать ею, вобрать все то чистое, млечное, парное, чего нельзя уловить ни слухом, ни взглядом. Запах моей девочки становится для меня почти так же необходим, как воздух, — я то и дело ощущаю его нехватку и отправляюсь за очередной порцией, раз десять-двадцать на дню пополняя легкие свежим запахом, с которым и живется, и думается как-то бодрее. Самое любимое воспринимается именно так — нюхом, как нечто эфирное, веющее. Не зря ведь говорят: «Он на нее не надышится». Это, по-моему, значит: очень уж любит и хочет всю в себя вдохнуть, вобрать, да вот, бедный, никак не может и все дышит, дышит ею — не надышится.

А дитя потому еще воспринимается преимущественно легкими, что все оно, как облако, тает, пропадает для более определенных ощущений: взгляду смутно, вдоху же открыто, все пронизано воздухом, да и само ведь только и делает, что дышит. И влечет навстречу — дышать собой.

Этот младенческий запах какой-то особенный — продувной, как будто ветерок по коже гуляет. В сравнении с ним взрослые запахи душноваты — набрякли, уплотнились каждый в своей ложбинке. Что же до всяких цветочных и производных от них парфюмерных запахов, то в них, напротив, мало плотского — холодны, прозрачны, теплом не дышат. Запах младенца — посередине, на пути превращения: он ветренее и легче, чем у взрослого, но теплее и уютнее цветочного. Это как бы и не запах даже, а встречное дуновение, исходящее от всего детского тельца. Ни одна пора еще не закупорена, дышит, как крошечная ноздря, и оттуда набегает теплый сквознячок, овевает меня. И сладостно уткнуться губами в эту кожу и шептать что-нибудь глупое, совсем незначащее, ощущая, как мое же дыхание возвращается ко мне, обвеянное уже не моим, а солнечно-чистым, медово-млечным запахом.

И живот хорошо целовать, и ножки, но особенно головку, потому что вокруг нее теплый ореол из волос, так что младенческая плоть, и вообще воздухоподобная, здесь вся еще в запахе, настоянном и хранимом, как в чаше. Во всех других местах — резкая граница прохладного воздуха и теплой плоти, а тут, перепутавшись в волосах, они рассеиваются друг в друге. В этом нежном переплетении как бы высший вопрос решается — о том, чтобы духу воплотиться, а плоти одухотвориться.

И приникая к этим волосам, перебирая их губами, я чувствую

здесь, в мягкой их поросли, самое родное свое место на земле, где должна была бы обосноваться моя душа, чтобы собеседовать с ее душой, — здесь, заблудившись среди волос и вслушиваясь в корни их, предавшись тихому беспамятству и блужданию… По народным поверьям, темя священно: через невидимое отверстие в нем душа проникает в тело родившегося и покидает тело умирающего. Не оттого ли и моя душа устремляется к этому зыбкому родничку — вслед за ее душой, только-только туда вошедшей, тщетно пытаясь ее настичь.

III. Тайна

Ответ, которого я жду от нее, глубже, он таится в ее молчании, в каком-то ее труднодоступном «я», о котором я в самом деле не имею представления.

1

Наилучшее настроение у нее бывает по утрам, сразу после пробуждения, когда открываются ей свет и простор, будто заново родилась. Улыбка, звонкое гуление, широкие взмахи — целое оркестровое представление, в котором она — и дирижер, и исполнитель; и все в ней движется и играет в такт неслышной мелодии: ручки, губки, глазки.

Потом, к середине дня, она уже, видимо, устает от долгого непривычного бодрствования, начинает сердиться, и те же самые размашистые жесты вдруг неуловимо меняют свой смысл: из одаривающих превращаются в отторгающие. А к вечеру ей становится еще труднее жить… Поразительно, насколько умирание дня, угасание солнца, прямо как в растении, отражается в ней. Не нажито еще никаких защитных слоев, и день — впрямую жизнь, а ночь — впрямую смерть. И кажется, она боится этого мрака, который напоминает ей о чем-то… Внешний мир отступает, и она остается одна, в глухой утробе ночи, словно и не рождалась на свет.

Но самый пронзительный плач бывает у нее перед погружением в сон. На этой грани, с которой нам так легко и плавно соскальзывать, овладевает ею какое-то нестерпимое отчаяние. Сначала жалобное лепетание, горестное собирание всего лица в один сморщенный комок, потом закатывается, уже не осиливая собственного дыхания, — истошно рвется крик, опустошая грудь.

И почти сразу же — стоит только завернуть ее в одеяльце — смежает веки и, все еще всхлипывая, с заплаканным лицом, точно в мир скорбей и утрат, входит в сон.

2

Иногда она плачет не раскрывая глаз, и это особенно страшно, потому что мы оказываемся в стороне, бессильны отогнать невидимую угрозу. Мы могли бы попытаться спасти ее от стихийного бедствия, от бури и огня, но ведь тут изнутри что-то неведомое надвигается на наше дитя, перед чем остается только отступить, разбудив ее осторожными касаниями и поцелуями. И тогда, раскрывая глаза, разминаясь и потягиваясь, она вдруг расцветает в улыбке и снова начинает нам принадлежать. Мы не победители — мы только спасатели, мы бежим с поля боя, унося единственную свою драгоценность.

Но порою мне кажется, что тот новый дневной мир, куда мы все дальше ее вовлекаем, и есть причина ее ночного плача. Из бесплотности, невесомости мы загоняем ее в нашу яркую наступательную действительность, которая — по мере телесного роста — все плотнее окружает ее душу. Коготок увяз — всей птичке пропасть, то есть душе. И во сне, обретая прежнюю крылатость, она мучится этим взваленным на нее грузом дневных впечатлений, оседает, кричит. Все увиденное само теперь водит ее зрачками, изнуряя призраками минувшего дня. Они возвращаются к спящей душе, как грозное нашествие. И чем глубже младенческая душа, предводительствуемая нами, вторгается в этот боевой дневной мир, тем больше страдает она во сне, в приемлющем своем состоянии, когда все, ею освоенное и достигнутое, обращается против нее. И значит, мы не спасатели — мы виновники ее ночного страдания.

3

Однажды — ей исполнилось 52 дня, ровно седьмая часть года, — проснулась поздно вечером совсем странная, сама не своя: широко округлившиеся глаза и немое шевеление губ, произносящих неслышное, но совершенно осмысленное и внятное сообщение.

Поразительна именно определенность, вдруг проявившаяся во всем ее младенческом беспорядке и лепете, какая-то четкая, почти жесткая складка, отточенность жестов и мимики, явно не нам предназначенных. Словно пробуждение ее было досадной промашкой, и она чуть-чуть разминулась с кем-то в пространстве и времени, открыла не ту дверь и увидела нас, не успев сменить выражения на лице. Присутствие чужого в ней ощущалось теперь острее, чем когда она плакала во сне, — это незримое уже вышло из подполья, глядело на нас ее зрачками, с каким-то загадочным, лунным отливом, — так смотрят, когда пытаются одним только взглядом, мерцанием внутреннего света внушить определенную мысль. В этом было что-то не детское и даже не равное нам, а древнее, умудренное…

Мне вдруг почудилось, что она прошла уже опыт добра и зла, способна быть искушенной и искушать; что она еще только *будет* младенцем — через несколько месяцев или лет, а сейчас она старше нас на тысячу лет, и мы как-то теряемся перед ней, люди с одной жизнью, возомнившие себя родителями, творцами. Я почувствовал себя одним из многих в череде лиц, бесконечные века перед ней мелькавших, ей служивших. Так выросла она передо мной в нечто исполинское — а наутро снова стала крохотной девочкой, с чистыми, любопытными, совершенно детскими глазами.

И мне представилось, что вот я мыслю счастье близости с ней, долгого сопутствования по жизни, а ведь я не знаю, чья в ней душа, не чужая ли? Не для испытания ли нашего эта душа пришла на свет, вселилась в родную нам плоть?

Родить — еще не значит знать и владеть. Этим рожденное отличается от произведенного, которым уверенно распоряжается мастер, ибо ведает, что творит. Плод вынашивается скрыто от самих родителей, и материнское чрево даже является символом всяческой тайны и непознаваемости. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все» (Екк. 11: 5). Общая трагическая неуверенность человека в последствиях своих дел тяжелее всего довлеет рождению, ибо нет ничего ближе, чем своя

зачатая плоть, и нет ничего отдаленнее и сокровеннее, чем ее путь через тебя, к тебе и от тебя. Чужесть в собственном ребенке, его загадочность есть нечто неустранимое, отделяющее родителя и от ремесленника, знающего наизусть свое изделие, и от Творца, читающего в сердцах своих живых созданий.

4

«Кто это к нам пришел? Кто так глядит на меня? У кого такие большие глаза? Кто любимый такой?» — эти и подобные бессмысленные вопросы невольно слетают с языка, когда я вожусь с Олей, тискаю, беру на руки. Вроде и риторические вопросы, склад речи — банальный, все родители так говорят, но в самой неодолимой навязчивости этого штампа ведь должно же быть какое-то содержание! Почему так в душе у меня проговаривается: кто да кто? Разве я не знаю, кто передо мной? Дочка моя, Оля. Но ведь это мои собственные слова, которые мне ничего не объясняют. Ответ, которого я жду от нее, глубже, он таится в ее молчании, в каком-то ее труднодоступном «я», о котором я на самом деле не имею представления. И вот я повторяю: *кто? да кто?* — первый вопрос, с каким обращаются к пришельцам из неведомых земель. Но кто такие иноземцы и инопланетяне в сравнении с ней, явившейся ниоткуда!

Этот «кто-то», о котором я спрашиваю, не только не может сам ответить, но, вероятно, и не слышит меня, погруженный в музыку иных сфер. Вот почему я беспрестанно уточняю свой вопрос, пробую его во все новых вариантах и интонациях — так интервьюеры осаждают именитого визитера, надеясь, что какой-то из их очередных вопросов чудом прорвется сквозь многоязычный гам до элитарно-замкнутого слуха. Как лучше, понятнее спросить, чтобы повернулся наконец ключ в ее неприступной душе? «У кого такие темные реснички? У кого такие игрушечные пальчики?» В самом деле, у кого? Может быть, эти вопросы, которые так невольно и настойчиво срываются с языка, — не пустой стереотип, а самое глубокое во мне, озабоченность тайной ее прихода ниоткуда. И все «позитивные», «содержательные» высказывания: «Открой ротик», «Вот пойдем сейчас мыться», «Подними-ка ручку» и прочие — мелки в сравнении с этим вечным, проклятым философским вопросом. Как из ничего получается кто-то?

И не потому ли еще пристают с этими дурацкими вопросами к маленьким детям, что в них очень ощутим «некто», еще не выраженный, бессловесный? По мере того как человек взрослеет, разница между ним и «некто» стирается, он становится «кем-то». Жесты и манеры делаются более осознанными, целенаправленными, а душа — более ограниченной рамками своего выражения. Во взрослом есть полное владение собой, совпадение наружного и внутреннего «я», которые сжились, притерлись друг к другу. И потому нелепо спрашивать, кто это

сопит и сморкается так громко, кто стучит сапогами, кто надевает пиджак — ясно, что это делает Иван Иванович и никто другой, сомневаться в этом нелепо. Но вот подобным же образом спрашивают детей, и это уже не бессмыслица, а точная догадка: в детях есть этот невоплощенный «кто-то», о ком можно только спрашивать, не предполагая ответа. Есть тот, кто еще чужд всему, глядит издалека, отрешенно — потом он выйдет нам навстречу, станет тем-то и тем-то (в утвердительной форме). Но это будет уже кто-то другой — не тот *кто-то,* кого мы жадно вопрошаем сейчас, пока он еще не исчез: кто? кто? кто?

Нет, не разгадки мы требуем, мы просто укрепляем в себе сладко-томительное чувство загадки.

5

Есть в Оле и встречная расположенность к приятию тайны. Уже с трех-четырех месяцев она умиляла меня своим отношением к шепоту: сразу настораживалась и замирала, как только слова произносились тихо, с той бережностью, какой требует хрупкость тайны. Когда я обращаюсь к ней громко, она может и кричать, и руками размахивать, и вовсе не удостаивать меня вниманием; но шепот вызывает в ней мгновенную сосредоточенность, удивительную в столь неуемно-подвижном существе. Не потому ли, что шепот есть самый явный знак прикосновения к чему-то сокровенному? По мере затихания слова вырастает его неслышная смыслонасыщенность, и ребенок бросается на этот звук, как на что-то родное. Может быть, там, откуда он пришел, говорили такими же вот приглушенными голосами или вовсе молчанием?

Эта способность к интимности, к «секретничанью» дается, как я теперь понимаю, врожденно, «оттуда». Нам, привычным к «шуму мирскому», уже не отозваться с такой готовностью на горячий, щекотливый, бессмысленный шепоток. Оля же сразу отключается от всего внешнего, даже шумного и завлекательного: зрачки вперяются в непроявленный смысл, и вся она — сплошная неподвижность и поглощенность важностью тайны.

Легко с тобой, милая, быть заговорщиком! Ты сама еще только-только вышла из подполья, и всякие секреты привлекают тебя благородством и глубиной задачи — всеобщего внестояния, уединения каждого с каждым. Всякое укрывательство и укромность — по нраву тебе.

И вот я остаюсь с тобой один — как бы для исповеди или посвящения. Ты замерла, вслушалась, затаилась. Но что же я могу сказать тебе? Я шепчу: «Маленькая, родная, Олечка» — этого ли ты от меня ждешь? Когда все слова, которыми владею, станут тебе понятны, что смогу я по праву тайны тебе прошептать? Да и есть ли вообще на этом свете слова, достойные того замирания и отдачи, с которыми ты готова их слушать?

Или как ты никогда не ответишь на мое беспрестанное «кто?», так и я никогда не сумею ответить на твое безмолвное вопрошание, пытливое вслушивание в мои незначащие слова? Нет у меня тайн, которые я мог бы тебе раскрыть, — кроме той единственной и воистину непостижимой, что ты, моя плоть, сейчас рядом со мной и слушаешь меня. Я ведь и шепчу для того только, чтобы между нами возникла тайна, чтобы еще глубже и горячее сплотиться с тобой, через чуткую раковину твоего уха

достигая тайная тайных твоей души.

6

В последние наши дачные дни, во время долгих прогулок по опустевшей сентябрьской местности, я особенно сроднился с тобой. Вот иду я с коляской мимо притихших дворов, поредевших деревьев. Как обезлюдел и раздался дачный простор! Ты плачешь — в такие-то минуты я и выхожу гулять с тобой, — но вдруг замолкаешь и примиренным взглядом смотришь вверх, на блеклую, облетающую листву и еще более обесцвеченное, сизое, студенистое небо. Это затихание в тебе и долгое, без поворота головы, слежение одними зрачками так сродни всему окружающему в его осенней стылости и протяжности! Что видишь ты там, наверху, о чем говорят тебе эти ветви и это небо — тебе, не знающей, из какой земли они растут, над каким миром возвышаются? Там, куда ты смотришь, все пустынно и все одинаково — над любой частью света; и что бы ни видела ты, я чувствую, ты правильно смотришь, плавно скользя зрачками по каждому древесному плетению и небесному просвету, — не пропуская ничего, не прерываясь ничем, верная своему движению.

Улица через ворота выводит нас в поле — тут уже и впрямь все огромно, и пустота устрашающая и дикая. Я с коляской сразу теряюсь в этой пустоте — ветер так полно объемлет весь поднебесный простор, что тело ощущается легким и почти невесомым, вот-вот сорвется и улетит. «Мы затеряны, — то ли думаю, то ли говорю я тебе, — ветер играет нами, будто россыпью сухих и легких семян, которые уже нигде не задержатся и не прорастут, обреченные остаться попутчиками всех ветров… глубже вдохнем и улетим».

Этим пронзительным чувством нашей общей затерянности я вдруг лучше начинаю понимать тебя — то, что ты чувствуешь в этом мире, едва вступив в него. Он так же дик, огромен и пустынен для тебя, как это насквозь продутое поле, куда вынесло нас из разреженного скопления плетней и деревьев, а еще раньше — из уютного чрева дома. Мы как бы повторили твой путь в мировую расщелину и гулкое слепящее зияние, где такие же, как ты, крошечные былинки дрожат на бесконечном ветру. Сиротливое чувство человека в оголенном пространстве помогло мне понять тебя — это как у Блока в «Осенней воле»:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,

Желтой глины скудные пласты.

Наш мир — всегда осень для тебя, продувной, бессмысленно распахнутый простор. Это поле, раскинутое на километр или два, до пунктирного шоссе вдали, — только крохотная частица пустоты, внезапно тебя окружившей. И если я, уже немало побродивший по земле, вновь не могу избавиться тут от чувства своей заброшенности, то что же должна испытывать ты, впервые попавшая не только на это поле, но во весь этот полый, неохватный мир!

И вот идем мы с тобой вдвоем, вернее катим и катимся, настоящие перекати-поле, и я удивляюсь не только впервые постигнутой родственности наших чувств, но и очевидной, подавляющей их несоразмерности. Две разные пустоты вокруг нас: моя — обжитая, ограниченная со всех сторон — и твоя — еще беспредельная.

7

У Л. бывают иногда страшные видения: будто с Олей что-то случилось или она куда-то исчезает, — а тем временем девочка мирно спит. Для своего возраста вполне резвый и развитый младенец, врачи хвалят… Но прямо в соответствии с Олиным вырастанием учащаются эти материнские кошмары — причем дневные, стойкие, повторяющиеся. Откуда же эти страхи, которых я, хоть стыдись своего бесчувствия, начисто лишен?

Видимо, тревога матери запрятана в самом ее опустевшем чреве, которое уже больше не защищает родившееся дитя. И чем более зрелым и самостоятельным оно становится, тем острее страх за пребывание его вовне: все мерещится опасность или пропажа. Мне-то только прямая прибыль — лицезреть дочь после выхода ее из материнской тьмы на Божий свет; а у Л. — тоска и тревога. Рождение есть как бы обмен в чувствах и правах обладания между родителями, переход от отцовской тоски по невидимому ребенку — к материнскому страху за дитя, внутри себя уже неощутимое.

8

Как только мы с дачи переехали в город, Оля стала заметно спокойнее и веселее, точно почувствовала себя в надежных материнских объятиях. Тут и впрямь пространство более тесное и замкнутое; и если раньше она более получаса не могла пробыть на открытом воздухе, чтобы не проснуться и не расплакаться, то теперь ее надолго можно оставлять одну на балконе, и засыпает она с умиротворенностью на лице. Мы еще на даче заметили, что сон на свежем воздухе, который естественно считать полезным и приятным, внушает ей странную тревогу и в закрытом помещении она засыпает настолько же охотнее, насколько у матери на руках — в сравнении с кроваткой. Разные степени защищенности. Именно в тесноте-то для ребенка — и не в обиде.

Это перевернуло наши представления о том, как ребенок относится к природе. Мы-то полагали, в соответствии с давно устоявшимся руссоистским взглядом, что дитя, только вышедшее из недр природы, должно любить всякие луга, поля и долы, ласкаться с ветерком, улыбаться небу и т. д. Получилось же наоборот — притягивает ее все закрытое, укромное, чего в природе она не находит, зато цивилизация предоставляет сполна: от самого плотного окружения, вроде пеленки, коляски, кроватки, — до более вместительных недр комнаты, дома, города, которые она делит с другими людьми. В том-то и суть, что такого залегания бочком в теплой ложбинке, как прежде, природа поспевшему плоду уже не дает, выталкивая его на холодную и колючую поверхность. И только цивилизация, склоняясь над новорожденным, принимает его под материнскую опеку — из объятий в объятия.

Я бы так описал цивилизацию, какой вижу ее теперь, после Олиного рождения: под одним покровом — другой, еще тоньше, еще ближе и любовнее прилегающий. Колышутся ткани, задергиваются пологи, и во всей этой льнущей, струящейся материи обнаруживается суть цивилизации — вторичное материнство, усыновление человека в неродном, уже «выродившем» его мире природы.

Конечно, есть и то, о чем говорил Руссо: вскормленного цивилизацией и пресытившегося человека влечет бесконечный простор — прочь от дома, уюта. Но это уже не прирожденная тяга, а предсмертная — к рассеянию, к слиянию со всем распахнутым мирозданием: разбросанным прахом в прах вернуться. Крошечное же существо, только себя обретшее, боится этого тревожного простора, «не терпит пустоты». Агорафобия,

страх открытых пространств, полей, площадей, — врожденная «болезнь» новорожденного, оберегающая хрупкую еще целость.

IV. Любовь

Что такое любовь «с первого взгляда» в сравнении с любовью «с первого вдоха»? Рождение дочери станет таким же захватывающим приключением, темой романтических песнопений, как встреча с возлюбленной.

1

Носить младенца на руках, окружать его собой, помещать в выемку между подбородком и грудью — ни с чем не сравнимое блаженство. Вдруг новая способность пробуждается в мужском теле — втягиваться и углубляться, образуя полузамкнутое пространство, и тем отчасти испытать ощущение материнства.

Только новорожденное тело, так ладно еще приспособленное к чреву, дарит это высшее чувство полного обладания, когда заключаешь его в себя. В нем есть еще та незатверделость и текучесть, вобрав которую, можно захлебнуться от счастья переполненности. Ты ходишь с младенцем по комнате, бережно сжимая и в то же время покачивая, подбрасывая, — чтобы ощутить еще и еще его плескания о твои плечи, легкое переплескивание через края. Весь он перетекает туда, куда наклонишь его, и радостно осязать в себе это нежное бултыхание, подставлять щеки и губы под теплое взбрызгивание его ручек и пяточек.

2

Как для матери дитя, носимое в чреве, есть вовсе не забота нравственная, не доброе чувство и попечение, а часть плоти своей, так и отец может всем существом своим прилепляться к ребенку после рождения. Эта слепленность по силе своей равна супружеской, почему и говорится в Книге Бытия, что «прилепиться к жене своей» можно, лишь отделившись от родителей. Тут самая настоящая кровь, а не водица всяких добрых предписаний: «родительский долг», «родительская ответственность», «родительская забота». Все эти понятия взяты из области общественных отношений между чужими людьми и уместны, скажем, для порицания родителей, бросающих своих детей: общество призывает их опомниться и внять требованиям человеколюбия. Но в применении к родительской любви эти понятия нелепы и бессильны.

Дело обстоит проще: нас тянет друг к другу. И для дочери эта близость вполне обыденна, она не чувствует тут события — просто существует в моих руках, на моей груди, как трава растет из земли или облако парит в воздухе. Событие для нее, наоборот, отъединенность, когда я, например, спускаю ее с рук и кладу в кроватку: плачет от обиды. Не я выносил этот плод, но он, родившись, стал врастать в меня. И когда я чувствую ее дыхание, обжигающее то щеку, то лоб, — со мной происходит то, что называется превращением вещества. Я весь расплываюсь, точно ставится на мне огненная печать.

Вот эту овнутренность всего внешнего в себе я и ощущаю как истинно родительское состояние. Родить — значит самому переродиться, причем не только духовно, но и телесно. Нравственность, ответственность — это уже потом, по мере взросления и отделения ребенка, когда для замены прямой связи понадобятся опосредования. Сейчас я знаю одно: рождение — акт двусторонний, взаимно преобразующий, и если я дал дочери жизнь во плоти, то столь же неоспоримо и она дарит мне новую жизнь: новые страсти, новые ожидания.

Отцу это дано ощутить, быть может, даже острее, неожиданнее, чем матери. Ведь в процессе рождения он существо скорее пассивное, приемлющее, в противоположность своей роли в зачатии. Там семя исходило от него. Теперь плод, изойдя от матери, начинает обратно воздействовать на отца. Круг замыкается. Наступает мой черед.

3

Для выражения родительских чувств еще не хватает слов. Нравственные и тем более юридические понятия сюда не подходят. Остается только один подходящий язык — язык любви. Наслаждаешься чистым запахом волос, целованием крохотной, но уже округлившейся ручки — и испытываешь изначально ту утоленность, которая во взрослых отношениях дается лишь после страстного неистовства. Мы изначально слиты друг с другом как одно существо. Прижимая ее к себе, я испытываю то чувство легкости и свободы, с каким единое существо, «отец-дочь», то раздваивается, то опять обретает нераздельность. Дочь — своя плоть, ею можно очаровываться, потому что она отделилась от тебя, но ее не нужно завоевывать, потому что она не чужая тебе.

В этом есть что-то райское, не только в переносном, но, быть может, и в прямом смысле. Ведь до того, как Адам и Ева познали друг друга как мужчина и женщина, во грехе, кем была Ева? Дочерью Адама, «костью от костей и плотью от плоти его». Она не чужая женщина, «добытая», «поятая» в жены, а сама «взята от мужа», вылеплена из ребра его, как дочь из отца. И не есть ли первоначально невинные, но сладостные отношения, составлявшие их эдемский союз до грехопадения, именно отношения породившей плоти к порожденной, чистые от вожделения? «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2: 25). Это потом, когда всеобщий греховный раздел вошел в мир, плоти их обособились, как бы разроднились и устыдились своей наготы, и тогда-то влечение двух противоположных полов вытеснило у них первоначальную родственную близость. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3: 16). Тогда и возникла любовь как вожделение и владычество, с ее разрушительными порывами, с ее короткой радостью, повисшей между двумя безднами. Родительская нежность свободна от этой истомляющей смены влечения и отталкивания, от этого перепада между мучительной напряженностью и опустошительной разрядкой. Все это жестоко-страстное, живущее присвоением чужого, во многом уже преодолевается в супружестве, но еще более — в близости родителей и детей.

Вот почему отвратительно кровосмешение: тут свои совокупляются как чужие. Когда две плоти уже изначально едины, то половое общение между ними превращается в расторжение родства. Нежность родителей к детям не только отлична от супружеского влечения, но и прямо противоположна

кровосмесительной страсти, где не свое между своими и не свое между чужими, а чужое между своими.

Почему-то, однако, это свое между своими менее всего выявлено, понято, обдумано. Всю литературу терзают в клочья безумные страсти влюбленных, среди которых нет-нет да и мелькнут в ярких лучах психоанализа крадущиеся силуэты кровосмесителей. Где же плоть в нежнейшем своем состоянии, родительско-детском — бурном без мути, чистом без пресности?

Или это «свое со своим» слишком уж безмятежно: нет движения, нет трагедии?

4

Про этот тепленький комочек, про этот единственный запах могу только сказать, что без них мне жизни уже нет — и это, может быть, самое страшное по своей необратимости, что случалось со мной, потому что жизнь уже до самого конца вложена в иное тело и обречена его отдельной судьбе. Пока что эта девочка еще моя, но вот я беру ее на руки, прижимаю к себе — а она тянется в сторону к блестящей люстре, и уже чуть ли не отбивается от меня. И так, пальчик за пальчиком, она будет постепенно все свое у меня отбирать, и к ее пятнадцати-двадцати годам останусь я с пустыми руками и отнятой душой.

А начиналось все безоблачно и счастливо — безоглядным вселением моей души в каждый ее изгиб, волосок, ноготок. Душа потому так и любит новорожденное тело, что оно в наибольшей степени само — душа, чистейшая форма, платоновская идея, еще не запятнанная воплощением, воспитанием, приспособлением к земным условиям. И вот родительская душа, едва завидев его, сразу проникается им, вселяется во все эти пяточки, локотки, плечики как в собственную плоть и испытывает восторг, исторжение через край. Лишь потом, когда взрослеющий ребенок отдаляется и душа пробует взять себя назад, она постигает весь ужас своей обреченности: никогда уже не найти замены этому телу, которое ей не принадлежит, в котором властвует другая душа.

Как бы ни любили дети своих родителей, в этих последних всегда есть что-то брошенное и забытое. Они уходят в прошлое своими отмирающими телами, исторгнув из себя неумирающее семя, свою бессмертную душу. Тоска родителей по детям — это вековечная тоска по недостижимому, сверхвременному, квинтэссенция мировой романтики. Все, что есть в судьбах безответно влюбленных, безнадежно страдающих, безвозвратно покинутых, — есть и в их судьбе. Кто покинут более, чем станционный смотритель — дочерью? Он не может избавиться от этого наваждения: он любит не чужое, которого много, а единственное, свое.

Эта любовь своего к своему не исключает трагедии, а, напротив, начальной своей безмятежностью раздвигает грядущие ее масштабы. Если изменяет возлюбленная, то это значит, что она вновь стала чужой, какой и была прежде. Но с дитем-то прежде были только ласки, только любовь, безусловная и доступная, как воздух. И вдруг воздух начинает исчезать, оставляя без привычного вдоха. Тут потеря — не возврат к былому

одиночеству, а невозможность вечной любви. Я был всем для тебя: нянькой, кормильцем, сиделкой, наставником, я помещал всю тебя на груди — и вот я становлюсь частью: все дальше дробящейся, скучной, привычной, исчезающе малой частицей твоей жизни. Я затерян среди кухонной утвари, меня заслоняют книги, стулья, телевизор… Это низвержение творца: не сознательное богоборчество, а равнодушный атеизм — что может быть трагичнее?

Пусть до этого еще далеко — но потеря тем страшнее, чем крупнее достояние. А больше, чем сейчас, когда ты совсем еще маленькая, тебя у меня никогда не будет. Чем ты меньше, тем больше тебя со мной.

5

И вот отец пытается повернуть вспять беспощадный к нему ход времени. Он хочет остаться *всем* для своих детей, каким был для них в детстве. Этой безумной мечтой обуян король Лир — величайший герой и мученик отцовства. Трагедия Лира-отца заключает в себе сущность всех других грандиозных трагедий, ибо он пытается перевернуть сам порядок вещей — стать эпилогом там, где является лишь прологом.

Лир хочет заполнить собой то будущее своих дочерей, где они должны жить уже *после* него. Для этого ему уже недостаточно быть только отцом — ведь дочерям пришла пора обзаводиться своими семьями. Вот и хочет Лир сменить свой обветшалый статус отца на супружеский и сыновний. Если суждено дочерям превратиться в жен и матерей, то он желает, чтобы они любили его и женской, и материнской любовью — всей любовью, какую вмещает их сердце. Разве нет в таком требовании безукоризненной логики? Отец дает своим детям жизнь со всеми ее дарами: воздухом, светом, простором — вот он и хочет, чтобы его любили и почитали превыше всего. Чего добивается Лир, точно угадывает лукавая Гонерилья:

> Вы мне милей, чем воздух, свет очей,
> Ценней богатств и всех сокровищ мира,
> Здоровья, жизни, чести, красоты.
> Я вас люблю, как не любили дети
> Доныне никогда своих отцов[6].

Лир требует, чтобы взрослые дочери вечно оставались детьми, находили в нем высшую усладу и замену всему. И не такое уж это надуманное притязание — быть может, эта мания отцовского величия есть вопль той самой природы, которая заставляет иногда животных пожирать в порыве необузданной страсти собственное потомство.

И вот эта сцена отречения от королевских прав, от отцовской власти… Лир ведь не просто отдает — он меняет: свое отцовство, роль которого уже ничтожна в жизни взрослых дочерей, на супружество и сыновство. По сути, он вовлекает женихов своих дочерей в этот сговор для того, чтобы сделать их свидетелями нового брачного союза, вступая в который дочери приносят отцу клятву вечной любви. И потому так возмущает его Корделия, отказывающаяся произнести любовное признание и клятву

верности, ибо она воспринимает все это как *брачную церемонию,* в которой женихи выступают как свидетели, а отец превращается в супруга.

> На что супруги сестрам,
> Когда они вас любят одного?[7]

Лир проклинает свою младшую дочь — единственную, для кого он остается собственно отцом. Ведь он хочет большего: из старшего — стать ровесником своим дочерям или даже младшим, чтобы жизнь потекла вспять. Шут так и говорит Лиру:

> …Ты из своих дочерей сделал матерей для себя,
> дал им в руки розги и стал спускать с себя штаны[8].

Так вот к чему приводит это державное упрямство отца, который хочет остаться *всем:* он становится *ничем.* Он получает не ласки, как любимый сынок, а розги, как надоедливый пасынок. Время превыше справедливости и не допускает симметричных перестановок. Дочь со временем может стать матерью, но отец уже не может стать сыном. Лир, как трагический безумец, бунтует против этих незыблемых законов. Но в конце концов к нему приходит и трагическое прозрение — и от кого же? От той, которая отказалась любить его больше, чем просто отца. Ценою своей жизни Корделия возрождает в опустившемся бродяге достоинство короля, потому что сохранила в нем отца.

Вот урок каждому отцу, отповедь всем будущим притязаниям на дочь: не ласкайся к ней сыном, не ревнуй ее мужем. Отцовство — урок трагической необратимости и стоического долготерпения: прощание — старость; разлука — смерть. Изо всех видов любви родительская — самая смиренная, ибо предстоящего в ней меньше, чем прошедшего. Трагедия Лира с его обреченным бунтом учит родителей приятию своей все более скромной роли в жизни детей.

И не выражено ли в родительской любви с ее убывающим правом собственности некое изначальное свойство любви вообще как самоотречения и самозабвения? По словам апостола Павла, «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего…» Это неревнование, нестяжательство, в которых родительская любовь проходит жесточайший искус и аскезу, — не чистейшая ли сущность любви?

6

Лучшее, что я читал когда-либо о любви, — трактат Владимира Соловьева «Смысл любви». И вот перечитываю его — и не нахожу в себе того восторженного согласия, с каким читал его года четыре назад, когда родительство было еще далеко впереди, а супружество только начиналось.

Соловьев останавливается именно на стадии молодой влюбленности как высшей и самодостаточной в отношениях между мужчиной и женщиной. Любовь в высочайших своих проявлениях: Тристан и Изольда, Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура, Ромео и Джульетта, Вертер и Лотта — никогда или почти никогда не завершается браком и не дает потомства, ибо смысл человеческой любви состоит в самораскрытии личности, а не в продолжении рода. Любовь — это встреча двух равных и независимых индивидуальностей, которые, признавая друг за другом абсолютную ценность, отрекаются от животного эгоизма, преодолевают замкнутость своего «я» и делают первый, величайший шаг к отождествлению себя со всемирным и вечным — не только с чужой единичной душой, но и с душой мироздания, с Богом. Родительская любовь, по Соловьеву, не может достигнуть совершенства половой любви, так как она обращена не к свободной душе другого существа, а на свое, на родную плоть, и потому чаще всего есть продолжение и развитие себялюбия.

«Любовь родительская — в особенности материнская — и по силе чувства, и по конкретности предмета приближается к любви половой, но по другим причинам не может иметь равного с нею значения для человеческой индивидуальности. Она обусловлена фактом размножения и сменою поколений… В материнской любви нет, собственно, признания безусловного значения за любимым, признания его истинной индивидуальности, ибо для матери хотя ее детище дороже всего, но именно только как ее детище, не иначе чем у прочих животных, т. е. здесь мнимое признание безусловного значения за другим в действительности обусловлено внешнею физиологическою связью»[9].

Что на это возразить? Конечно, Соловьев прав: в ребенке любишь себя. Но какое это ускользающее, недостижимое «я» и как оно на глазах меняет свой лик, превращается во что-то неведомое, непредсказуемое: *он* или *она!* Все происходит прямо противоположно половой любви: там чужое обретает вдруг такую же теплую трепетность, проницаемость, уязвимость, как собственное «я»; здесь же свое, родное, постепенно обнаруживает

свойства чужого, самостоятельного и совершенно свободного существа. Любовь к нему с каждым годом все менее становится любовью к себе и все более — любовью к миру, в который уходит порожденное тобою существо. Начинаешь любить все, что он принял, постиг, избрал, все, что он любит, и все, что любит его. От «своего» уже почти ничего не остается в цели и предмете этой любви, кроме того неизбывно «своего», которое позволяет пережить весь этот раздвинувшийся и доселе чужой мир как продолжение своего «я» — через его преодоление.

Родительская любовь есть себялюбие лишь в начале своем, но в конечном счете она есть самоотвержение, ибо никогда дети не могут так принадлежать родителям, как любимый — любящему. Эротическая любовь живет надеждой на обладание, устремлена к союзу, совместному будущему влюбленных; по замыслу своему она есть любовь до гроба. Родители же обречены все дальше и дальше расходиться с детьми, обретающими по мере взросления свою отдельную судьбу. Не им, не родителям, разделять высшие наслаждения своих любимых, не им определять круг их зрелых забот… Если в половой любви происходит единение чуждых индивидуальностей, то в родительской — разъединение родных, и отсюда трагизм этой, казалось бы, вполне эгоистически благополучной любви — отнюдь не меньший, чем в самой напряженной эротической страсти. Рядом с трагедией Ромео и Джульетты, которым трудно соединиться, идет не меньшая по накалу трагедия короля Лира, которому трудно расстаться со своими дочерями. Если и есть начальный родительский эгоизм, то весь опыт любви к детям работает против него, бесконечной чередой потерь нанося ему жесточайшие удары, под воздействием которых себялюбие все более перерастает в самоотвержение, собственничество сменяется жертвенностью.

Да и что делали бы мы со своей способностью и потребностью любви, если бы высший смысл ее был уже осуществлен в молодости? Для чего дана оставшаяся жизнь? Естественнее предположить, что родительская любовь, вырастая из половой, не только не роняет ее смысл, но поднимает его выше. Поскольку ребенок изначально мой, я не могу желать его для себя; тут обладание отпадает как цель, поскольку предпослано как данность. Цель же — дарение: ребенка — миру, мира — ребенку. Родительская любовь «не ищет своего», она — отдает, начиная с актов зачатия и рождения, где своя плоть превращается в чужую, отдельную.

И потому соловьевский культ самодовлеющей половой любви кажется мне уже слегка архаическим — не только в биографическом плане, но и в историческом. Соловьев развивает,

в сущности, теорию Платонова эроса, смысл которого — в стремлении части восполнить недостающее и обрести целостность. Отсюда и понятие андрогина — двуполого существа, которое в древности было расчленено на мужчину и женщину. Половая любовь, *эрос,* есть жажда воссоединения, устремление малого к наибольшему, бедного к богатому — так и отдельное человеческое «я» выходит из своей ущербной замкнутости и приобщается к мировому всеединству. Напротив, любовь от большого к меньшему, от целого к части есть дающая, дарящая любовь — *агапэ,* практика и теория которой развиты в христианстве. Такой милосердной, оделяющей, сострадательно-воспитующей любовью Бог любит сотворенный Им мир, Богочеловек — сопричастный Ему род человеческий, и всякий создатель — свое создание, и всякое целое — малую, но родную свою долю. Эрос есть воззвание к Высшему, голодное устремление к нему: агапэ — отзыв этого Высшего, кормящая и питающая любовь. И если в муже-женских отношениях господствует эрос, стремление одной половины к другой для образования целого и высшего, то в отношениях родителей к детям — агапэ: снисхождение, милосердие, долготерпение, чувство большого к малому, готовность умаляться — чтобы выращивать; терпеть лишение — чтобы творить избыток.

Единицы, образовав двоицу, входят далее в творческую жизнь троицы. Если половая любовь-страсть соответствует платонической модели восходящего устремления человека к божественной целостности и красоте, то родительская любовь-милость соответствует модели иудео-христианской, низводящей любовь от Бога-Творца на весь сотворенный род человеческий.

Таков ход христианизации языческого чувства, проявляющийся не только в общечеловеческой истории, но и в истории каждой отдельной личности, в ее семейном устроении. Две личности, слившись, порождают родительский избыток, изливающийся уже новой — не вожделеющей, а дарящей любовью на потомство.

7

Однако родительские чувства, как высшие, не устраняют эротических, а вбирают и преображают их. У отца к дочери — особое отношение, чем-то близкое к супружескому. Ведь дочь — это ближайшее подобие жены, когда та была маленькой, — очищенный от возрастных наслоений, возвращенный к истоку, архетипический образ возлюбленной. В дочери узнаешь свою судьбу, обреченность именно этому женскому типу. Любовь к дочери и любовь к жене взаимно усиливают и питают друг друга — тут обретается некое единое женское существо, чуждое старения, проходящее разными возрастами через всю твою жизнь.

Ведь любящему мало одного только настоящего и будущего своей возлюбленной, ему еще хочется, чтобы ее детство и отрочество, все это «ничейное» время расцвета тоже ему принадлежало. И вот в дочери брак обретает полноту: утраченная часть любимой жизни, прелесть детского лица и голоса жены — все это теперь возвращается мужу в его качестве отца. Супружество обретает в родительстве не только завершающую цель, но и недостающее начало. Отцу открывается такая глубина еще не сознающей себя, стихийно обольстительной женственности, которая сокрыта от других мужчин, созерцающих лишь результат, а не весь процесс, прекрасный своей несвершенностью, скользящим и ускользающим выбором.

В этом-то и состоит женственность — в вечной колебательности, неуследимости души. Что воспевалось певцами вечной женственности, как не эти мгновенные вспышки и непрестанные озарения любимого облика? Он живет тысячью преходящих жизней, тогда как мужчине дана только долгая одна. Например, у Блока: ветер, меняющий очертания облаков, волны, бегущие на песок, белое платье, мелькающее в сумерках, тени и отзвуки, никак не переходящие в зримое присутствие, томленье издалека, не допускающее обладания, — вот что такое вечная женственность.

Но это значит — дочь.

Поразительный пробел в мировой культуре: сколько раз воспевались невеста, жена, мать, сестра, незнакомка, и почти ни разу — дочь. Не ребенок вообще, не дитя, но именно женственность, воплощенная в дочери полнее, чем в ком-либо другом. С невестой или женой слишком много равенства и совместности — вдохновение всегда живет чем-то иносторонним, недостижимым. Такова дочь — ускользающая и недостижимая, как время, меня бегущая, мне не принадлежащая, чужая невеста,

чужая жена, явленная мне лишь как отзвук и намек.

С этой стороны женственность навсегда остается скрыта для мужа, любовника, жениха, ибо они видят уже зрелую женственность, сформированную их мужскими запросами к ней. Отцу же раскрыта изначальная, самосущая женственность — не «для кого-то», а «в себе», до и вне выбора, в неограниченной игре своих возможностей. Это чудо можно сравнить с познавательным парадоксом, несбыточной мечтой каждого философа: увидеть мир не таким, каким он предстает нам, а таким, каков он сам по себе, вне направленного на него взгляда.

Красота и поэзия *дочернего*… Удивительно, почему ни один из певцов женственного ни словом не обмолвился о ней. Ведь если идея вечной женственности и явлена где-то во всей чистоте, то именно в дочери. Только она по-настоящему и вечна, ибо переживет отца; только она воистину идеальна, ибо, как женщина, недостижима и неприкосновенна; только она до конца женственна, ибо безгранично изменчива и еще не знает, для чего создана.

Недоступность и целомудрие юной возлюбленной, которой суждено принадлежать другому, неясность и обворожительность полудетского облика, расплывчатость черт, излучающих нездешнее сияние… То, что Данте явилось в девятилетней Беатриче, Жуковскому в двенадцатилетней Маше Протасовой, — все это влечение к нерасцветшей, свернутой, как бутон, женственности достигает предела в любви к дочери, самой юной и недостижимой из возлюбленных.

Данте назвал свою повесть о Беатриче «Vita Nuova»: эта встреча переродила его.

> …Амор явился. Не забыть мне, нет,
> Тот страх и трепет, то очарованье!
> Мое, ликуя, сердце он держал.
> В его объятьях дама почивала,
> Чуть скрыта легкой тканью покрывал[10].

Вот и моя дама спит, полусбросив простынку… В какой-то мере весь мой дневник превращается в парафразу «Новой жизни», только возлюбленной выступает не «исполненная славы дама», а новорожденная дочь. Отважусь на дерзкое сравнение: сколь разительнее и могущественнее новизна, когда она совпадает с рождением, впервые являет себя взору не одного человека, но целого мироздания! Новые начала, заложенные в душу влюбленного, поскольку его возлюбленная только начала жить, новы не в аллегорическом, а в буквальном, усиленном смысле

слова: новы, как сама новорожденная. В любви к дочери все дантовские символы духовного обновления обретают реальнейшее, жизненное соответствие: тут любовь укореняется в том начале начал, дальше которого ей пойти не дано. Что такое любовь «с первого взгляда» в сравнении с любовью «с первого вдоха»? Судьба тут готовит нам другой масштаб — сверхжизненную предопределенность, внутри которой не остается места для милой нелепицы случайных взглядов и встреч. Вообще, чем глубже любовь, тем дальше устремляется она к началу любимой жизни, чтобы до предела познать меру своей обреченности; но никто не может пойти в этом направлении дальше, чем отец.

То, что мотив, идея, культ дочернего почти отсутствуют в поэзии, философии, культуре, обусловлено, быть может, еще недостаточным самопознанием человечества, слабым развитием личностного начала. Дочернее воспринимается в основном как родовое, природное. Но ведь точно так же воспринималось и женское вообще — только с началом Нового времени, именно с Данте, любовь к женщине перестает быть чисто родовым актом и освящается как глубоко индивидуальное чувство, превращается в источник поэтического вдохновения и центральный сюжет мировой культуры.

Быть может, такая же судьба — одухотворение и вочеловечение — ждет и родительскую любовь, которая до сих пор трактовалась преимущественно безлично, как сила природы, мало отличающая человека от зверя. Ведь родительское, по существу, и должно опоэтизироваться и индивидуализироваться позже, чем эротическое, поскольку и в масштабе семьи, и в масштабе человечества оно знаменует более зрелую стадию развития личности. Когда в истории культуры наступит тот же родительский этап, что рано или поздно наступает в развитии почти каждой личности и семьи, тогда рождение дочери станет таким же захватывающим приключением, темой бесконечных романических повествований и романтических песнопений, как ныне — встреча с возлюбленной. О *новой жизни* — в смысле более прямом и полном, чем дантовский, — будут слагаться произведения этой родительски умудренной культуры.

V. Рост

Все прочие лица рядом с нею — как мертвые. Все желто, плоско, пергаментно рядом с этим сиянием. Как будто заря маленьким сверточком на диване…

1

3 октября 1979 года. Два месяца 12 дней. После разъездов и дел, после вечерних, сырых, многолюдных улиц вошел в комнату — девочка лежит посреди огромного дивана. Боже, как она красива! В ее лице — рдеющий горячий цвет. Когда я подолгу дома, то привыкаю к этому свету, зрачки настраиваются; но небольшая отлучка, всего несколько часов среди чужих, взрослых лиц, по-иному освещенных пространств, — и я слепну, подходя к ней.

«Как живая!» — хочется сказать про это неправдоподобно яркое существо. Если брать литературные прообразы, то это спящая царевна, про которую тоже восклицают «как живая», потому что она считается мертвой. Отчего же и мне захотелось так сказать? Ведь Оля и вправду живая. Да потому, наверно, что все прочие лица рядом с нею — как мертвые. Тут восхождение на иной уровень восприятия: она — живая, но и среди живых она — как живая, то есть живая вдвойне, ожившая в царстве мертвых. Все желто, плоско, пергаментно рядом с этим сиянием. Как будто заря маленьким сверточком на диване…

Мгновениями становится чудно и страшно: уж не заколдовано ли это лицо? Кажется, что даже на стенах и потолке играл этот ее горячий свет, все было в цветных отблесках, блуждающих огоньках, невидимых лампадках…

2

Ее жизнь сейчас, когда усталость после рождения уже сходит на нет, а труд приобщения к миру, с гимнастикой, обучением «всему нужному», еще не начался, — жизнь ее кажется так легка, так беззаботна… Пальчиком не шевельнет — все за нее делается. Но если прижать к себе ее тельце, можно даже мускульно ощутить, как постоянно что-то напрягается в ней. Дышит учащенно, будто запыхалась, только что примчалась откуда-то, и все жилки дрожат, как у бегуна на длинную дистанцию. Временами она показывает, как бежит, ножками часто-часто перебирает в воздухе — но это лишь напоминание о беге невидимом.

Даже когда она улыбается, лицо ее то и дело искажается мучительным усилием, отражением какой-то внутренней борьбы. И постоянно она тужится, вплоть до странного сходства с рожающей женщиной — те же корчи на нее набегают, внезапные судороги, слышно ее кряхтение, временами стоны, как будто мать среди прочих признаков родства передает в наследство новорожденной и этот последний, запечатленный в самом процессе расставания с ней. Словно дочь все еще продолжает рожать какую-то нерожденную часть себя после того, как мать родила в ней все, что могла, — часть усилий выпадает на долю самого младенца.

Видимо, что-то общее есть и в природе этих потуг: мать схватками исторгает младенца из себя; он же продолжает «себя рожать», исторгая из себя отходы своего грудного питания. Мука матери в том, чтобы отделить от себя детское, а мука ребенка — отделить от себя материнское; но таков и есть труд рождения как взаимного расторжения двух вросших друг в друга существ.

Вместе с потугами важнейшее из ее детских усилий — потягивание. Если тужась она пытается выпустить то, что изнутри ее распирает, то потягиваясь одолевает силу какого-то сжатия, возвращающего в привычное, тесное пространство утробы. Потугами она исторгает из себя лишнее, а потягиваниями, наоборот, набирает себе дополнительный размер и простор. Сложение этих двух противоположных усилий и становится ее самостоятельным ростом.

Потягивание — это мускульное извлечение себя из сна, которое взрослому знакомо лишь по утреннему пробуждению. Младенец же непрерывно занят этим и во время бодрствования, одолевая свое утробное оцепенение, освобождаясь от позы зародыша с согнутыми ручками и поджатыми ножками.

Потягушки для новорожденного — это сразу все виды атлетики: и ходьба, и бег, и прыжки, и метание, и поднятие тяжестей… Личико у Оли краснеет и морщится, как будто она ворочает и хочет свалить с себя непосильную тяжесть, — всё тянется, тянется, за все мыслимые пределы, чтобы наконец прийти в себя. В этих долгих потягушках открывается возможность великаньего роста и столь же исполинская воля, будто она не просто разминает затекшее тельце, а борется со сном вечным и непробудным. Сразу целая Лаокоонова группа проступает в ней, в ручках и ножках, нечеловеческим усилием разжимающих тугое змеиное кольцо. Так она борется с добытийным сном, оплетающим ее изнутри. Потом лицо разглаживается, сияет круглотой и покоем: незримый враг на какое-то время повергнут.

3

Лежит она на диване, руками-ногами озорно помахивает, удальски покряхтывает. Богатырь, да и только — когда он не сражается, а резвится от избытка сил. Вообще, пластика всех ее жестов удивительно похожа на богатырскую: что-то бесшабашное, разудалое. Младенец телом своим как бы еще и не владеет, и особое обаяние в том, как полуудивленно-полуотрешенно он смотрит на то, что сам вытворяет.

Ведь это свойство богатырей — настолько не управлять своей силой, что она ими играет и порой раздавливает (как Святогора-богатыря). На то они и богатыри, что у них сила — от Бога, а не от закалки и упражнений; они не сами ее в себе взрастили и не распоряжаются ею — они данники ее. Богатырь размахнется палицей — и сам изумляется: эка силища немереная привалила к руке. Вот и у Оли: что ни жест — то разгул безудержный; руки и ноги летают в разные стороны, будто одержимые волшебной властью, а сама она только покрякивает, набирая побольше воздуха, чтобы крикнуть погромче. Крик так же лихо и молодецки несется в мир, как и жест, — не с целью общения или обращения к кому-то, а для громкости как таковой, чтобы выказать крепость легких в широком захвате воздуха — силу, которая здесь ничему иному не служит, как только себе самой.

Соответственно и в богатырях есть что-то детское: они своей силой балуются, резвятся напропалую. Шаловливость, размашистость и безотчетность всех движений, ни на что не направленных, а просто заполняющих пространство и покоряющих мир. Для богатыря в принципе нет преград, взаимодействием с которыми в нем могла бы воспитаться вкрадчивость, мягкость, осмотрительность, — для него распахнут простор всюду, куда ни поведет рука и ни ступит нога. Отсюда и детская наивность в богатыре: он не искушен ни в княжеских, ни в холопьих хитростях, он привык только размахивать руками, да топать ногами, да кричать во все горло — как озорник-несмышленыш. Потому-то и не повзрослел, и не умудрился, что не знал препятствий, удары и ушибы его не воспитали, не приучили сдерживать себя.

Все наше владение собой — от несвободы. Шесть раз нас укротили — на седьмой мы сами себя укрощаем. Младенчество еще не приобрело опыта смирения — это богатырская стадия в развитии личности, когда она еще не изведала преград и знает одни только даровые победы. Машет младенец направо и налево, одной рукой сметает улицу, другой — переулочек, передвигается

напролом, наугад. Еще до того, как придет ему пора слушать сказку, он сам ее герой.

Не потому ли о младенце всегда тянет говорить гиперболами? Живая литота, мелюзга, он вдохновляет на стиль, изобилующий преувеличениями. «Самый хороший», «самый красивый», «самый сильный» — если подслушать все, что мать говорит младенцу о нем самом, то в уме непосвященного слушателя должен возникнуть образ исполина. По мере того как человек вырастает, стиль повествования о нем беднеет и мельчает, находясь как бы в обратной пропорции своему персонажу.

Дело, видимо, в том, что оценочное суждение отражает не столько реальность, сколько возможности предмета, а они у ребенка максимальны. Еще Аристотель учил, что искусство в отличие от истории рассказывает не о действительном, а о вероятном: «Задача поэта — говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть»[11]. Ребенок — это и есть «то, что может быть», чистая возможность, которая требует чрезмерного изображения. Поэтические формулы, восходящие к древнему эпосу — «детству человечества», — тут лишены риторической фальши и приобретают объективно-познавательный характер. Гипербола — это строжайший реализм возможностей. Писать о ребенке сдержанно-констатирующим образом — значит лгать о нем.

4

Постепенно эпическая фаза в жизни младенца сменяется исторической. Где-то между двумя и тремя месяцами открывается новая биографическая глава, все страницы которой начинаются словом «впервые». Почти каждый день отмечен проявлением небывалых прежде свойств и способностей: то он впервые повернулся на звук, то потянулся навстречу склонившемуся над ним лицу, то сложил ручки, то оттолкнулся ножками…

Раньше, до двух месяцев, с ним ничего особенного не происходило — он сам был чрезвычайным происшествием. Он воспринимался как трудный итог, а не робкое начало чудесных преобразований. О нем хотелось говорить только в настоящем и вечном времени: он такой-то, такой-то… Теперь хочется сказать: он сделал то-то и то-то… Младенец перестает быть «новорожденным»: новое заключается уже не в том, что он есть, а в том, каким он становится.

Для интуитивного постижения этой грани много значит размер ребенка. Вот Оля: к двум с половиной месяцам она так вытянулась, что мать уже не смогла бы ее родить такою: рост — 64 см, вес — 6,5 кг. Замкнулась она в эту жизнь безвозвратно. Вчера, глядя на нее, приготовленную к мытью, мы вдруг ахнули: перед нами лежало не новорожденное существо, а крохотная девочка, с размахивающими ручками, лукавыми глазками, улыбкой во весь рот. Перед нами был не пришелец из неведомых стран, усталый от долгих странствий, а бодрый искатель новых приключений, открытый всем превратностям земной судьбы. За несколько дней Оля попала из прошлого в сферу притяжения будущего.

5

Этот переход был отмечен двумя вехами, совпавшими во времени. В один и тот же день — 7 октября — Оля овладела законами двух стихий: стала грести в воде и ползти по суше.

Утром мы пустили ее плавать в ванну, как уже не раз делали, — и впервые она показала себя пловцом, отважно заработала руками и ногами. Прежде она сразу же принимала в воде утробную позу, свертывалась в комочек. И вот впервые она разжалась — свободу, воспитанную сушей, перенесла в исконную свою среду и тем самым научилась преодолевать ее.

Но если в воде она стала свободной, то на суше впервые испытала развивающую пользу несвободы. Мы произвели с ней опыт ползания на диване: привыкшую лежать навзничь, перевернули на живот. При таком положении опора стала восприниматься как препятствие, как резкий отпор, который получаешь прямо в лицо. Поначалу она лежала, поникнув головой и жалобно похныкивая, но потом, раза два оттолкнувшись от дивана и почувствовав сильное сопротивление, заметно разозлилась. Упершись руками в грудь неодушевленного врага, она закричала от ярости и обиды — и поползла. Каждый сантиметр первого в жизни пути давался ей с невероятным усилием. Мы впервые почувствовали, какой волевой у нас растет человечек: она стонала и ползла, почти без сил, на одном отчаянии. Так она пересекла диван в ширину.

Замечательно, что очередная веха развития отмечена у нее простым переворачиванием со спины на живот. Лежа на спине, свободно размахивая руками и ногами, она являлась к нам из золотого века героев. Перевернув ее на живот, лишив свободы и пробудив инстинкт преодоления, мы переселили ее в железный век тружеников. Возникло противоречие, следовательно — развитие; началась история. Моя рука, приставленная к ее согнутым и готовым к толчку ножкам, стала стартовой площадкой эволюции — передвижения в пространстве и становления во времени.

6

Как и все младенцы, Оля родилась с короткой шейкой, которая только сейчас, к трем месяцам, стала вытягиваться из многочисленных складок под подбородком, куда раньше и намыленный палец было трудно протиснуть.

У новорожденного голова растет прямо из туловища; шея же раскрепощает голову, вводя ее в гибкие и подвижные отношения с телом. Шея — это, можно сказать, грандиозный метафизический факт, означающий взаимную свободу высшей и низшей сфер человека. Шея для головы — что ноги для туловища: возможность самостояния. Так живая плоть превосходит косность земли, а вездесущая мысль — ограниченность плоти. Ногами осуществляется поступательное, линейное движение, которое более всего потребно туловищу с его утилитарными запросами; шея же осуществляет вращательное движение, подобающее высшей законодательнице — голове: тут совершенство формы (шар) и место в иерархии (верх) соответствует типу движения (круг).

Буквально «шея» означает «сшитое», «шов» (от «шить» — «шия») — то, чем голова скрепляется с туловищем. Но скрепление таково, что им достигается и раскрепощение, так что дуализм человеческого бытия находит тут свое гармоничное разрешение. В этом нежнейшем сочленении плавно перетекают друг в друга противоположности: мысль приобретает господство над миром, голова из служанки телу возносится в царицы…

Ах, да что там власть! — тут и сласть. Самые сладкие места — самые скрытые, в складках, на сгибах коленей, на локтях и запястьях, на талии. А шея — королевский шов, самое бархатистое и топкое место, где долго можно барахтаться и утопать губами. Она еще прекоротенькая, эта шейка, и прельщает не зрелой гибкостью, но припухающей, почти еще опрелой мягкостью, весенней сыростью и душистостью.

7

Каждый день что-то неуловимо сдвигается в ней. Но за этим можно только следить завороженно, как за колыханием воды, и лишь изредка, когда достигнут некий предел, можно отдать себе отчет в том, что произошло.

Так, сегодня, ровно в три месяца, Оля впервые установила отношения со своей ногой — почему-то левой. С руками она освоилась раньше — теперь же волна ее познавательного интереса докатилась до самого края, береговой линии тела.

Произошло это в ванночке, где мы грели ей больной живот; теплая вода настолько ее успокоила, что плач прекратился, лицо разгладилось, а главное — появилось внимание к внешнему миру. Вот тут-то она вдруг и обнаружила свою ногу, торчащую из воды: нога шевелилась, и Оля следила за ней, не спуская глаз, и тянулась к ней, доставая до колена. Так самая дальняя точка «себя» вошла в ее кругозор, и то, что принадлежало ей лишь по внутренней, нервно-мускульной связи, теперь стало принадлежать и в созерцании.

Удивительно, как человек открывает со стороны свое собственное тело, которое изнутри полностью ему принадлежит. Одно и то же дано ему как часть себя и как часть окружения. Правда, связь между внутренним ощущением и сторонним наблюдением за шевелящейся ножкой, кажется, еще ускользает от Оли, так же как еще недавно ей была недоступна связь собственной руки, вцепившейся в волосы, с той болью, какую она себе этим причиняла.

Соединить себя с собой — задача психического развития. Пока что одно — внутри, другое — снаружи, и только если между ними образуется стык, тогда и начинается самосознание. Сейчас ощущение и наблюдение — еще не пересекшиеся параллели; а самосознание — та бесконечная даль, где параллели все же пересекаются.

Вот и в зеркале она улыбается себе — но как другому ребенку; в мимике нет обратной связи, то есть намеренного изменения лица с целью проверить отзывчивость двойника. Внутреннее и внешнее — выражение лица и его отражение — еще не пересеклись, не определились взаимно.

8

Кстати, на днях мы узнали очередную примету (появление детей вообще способствует росту домашних суеверий): если показывать ребенку в зеркале его отражение, он перестанет расти. Откуда это? Всегдашняя боязнь следа, отпечатка, которым завладеет кто-то враждебный, чтобы навести порчу? Поэтому — никакого отображения вовне: в зеркале, на фотографии или просто в чужом взгляде! Особенно младенцу, который еще не укрепился в этой жизни, опасно такое похищение облика.

В приметах своя логическая закономерность: если чужой взглянет, то младенец может заболеть, зачахнуть; если же он сам на себя посмотрит, то задержится в росте. Тут не изъян, как от «дурного» постороннего глаза, а просто остановка, тождество с собой: останешься таким, каково твое отражение. Оно неподвижно, не может расти, и ты ему уподобишься в той же степени, в какой оно подобно тебе: живое заковано, заколдовано своим наружным подобием. Народный ум, в полном согласии с самой изощренной экзистенциальной философией, терпеть не может объективации, которую понимает просто: как подсматривание, наносящее непоправимый ущерб бытию в его органическом росте. Потому младенца нужно хранить в тайне, оберегая животворящую силу как от разрушительного взгляда извне, так и цепенящего взгляда на себя.

Еще одна примета прояснилась для меня благодаря Оле. Выносили мы как-то ее на прогулку — ножками вперед. Л. вдруг встревожилась, и я тоже почувствовал, что это нехорошая примета — надо перевернуть. Она же только что вышла головкой вперед из материнского чрева — таково и есть направление в жизнь. А ногами вперед — направление в смерть. Смерть — перевернутое рождение, и пространственная симметрия должна точно соблюдаться: если покойника нести не так, как принято, то он, пожалуй, заблудится и не попадет в предназначенное за гробом место. И живого нельзя поворачивать против естественного хода рождения, а то, чего доброго, занесет его невзначай в царство мертвых.

Здесь, в сущности, та же логика, что и в примете с зеркалом или с дурным глазом: все, что отчуждает нас от себя, обращает вспять, пресекает самопроизвольный ход развития, — все это не к добру. Отражение в зеркале также опрокидывает исконный порядок вещей, как поворот во время движения: меняются местами левое и правое, переднее и заднее… Да и другие, самые расхожие приметы — все о том же: плохо, если кошка перебежит

дорогу, или нечаянно споткнешься, или, забыв что-то, вернешься назад. Тогда уж лучше вовсе не отправляться в путь — если в самом начале движение обнаружило помеху, разрыв, обратимость.

Большинство примет относится именно к началу пути или какого-либо дела. Выход из покоя в движение, из небытия в бытие — та главная точка, куда судьба глядит и решает: пан или пропал. А младенчество — это выход в жизнь, начало всех путей, потому так много относится к нему примет. Плавно и гладко, без преткновений одолеть первый порожек — значит всей жизни задать поступательный ход.

9

И все-таки психическое развитие младенца начинается с самораздвоения, с того, что он застает, настигает, обнаруживает себя. Не другой объективирует его зеркалом или зрачком, а он сам, созерцая и отстраняя свое бытие. Путь души — именно возвращение к себе, в отличие от прямого развития тела вовне.

Вернусь к истории, с которой началось — или проявилось — Олино самосознание. Заметив свою ногу, Оля к ней потянулась, а потянувшись — заговорила. Что-то лепетала ей и выжидательно замолкала, будто предполагая ответ, и кивала, как будто соглашаясь, и удивлялась своей ноге.

Тут передо мной наглядно совершилась встреча и узнавание двух миров, о соотношении которых написано бесчисленное множество книг, — на философском языке это называется «дуализм души и тела». Обычно эти миры глубоко погружены друг в друга, и нам не дано их ясно разделить в живом существе. Но в начале жизни они еще только сближаются, и виден самый миг их соприкосновения, когда они с поразительной четкостью пересекаются очертаниями, чтобы потом постепенно размыться и затеряться один в другом. Душа является в незнакомый мир и впервые видит и приветствует тело, в котором она воплотилась.

В древности, еще в Египте, существовал особый литературный жанр: разговор умирающего со своей душой. Но не менее чем последние слова, подводящие итог жизни, знаменательны первые, напутствующие — *разговор новорожденного со своим телом.*

В зависимости от того, преобладает ли в этом лепете нежность, удивление, сомнение, испуг и т. д., можно судить, как сложатся дальнейшие отношения личности с самой собой. Сразу видно, есть ли у души совместимость и взаимопонимание с миром, и прежде всего с телом, в котором ей предстоит жить.

…Шевелились губы — и шевелилась ножка в ответ. Беспечность праздного любопытства, как при беседе с новым знакомым.

10

Известно, что младенцы с трудом и не сразу фиксируют взгляд, наш мир для них — как вода, течет, струится. Вот и Оля часто щурится, будто перед ней что-то колышется и она никак не может вглядеться, найти фокус.

Единственное, куда младенец смотрит более или менее прямо и пристально, — это в чужие глаза. Они для него — как магнитный полюс для дрожащей и блуждающей стрелки компаса. Вглядываясь в глаза, младенец впервые обретает твердую почву в этом плывущем мире: островок в междуречье лба и щек, берег, окаймленный грядой ресниц.

Почему именно эту крошечную часть всей поверхности зримого мира сразу выделяет ребенок, безошибочно притягиваясь к ней, не отвлекаясь ни на что другое? По рассказу Л., сразу же после родов, только что извлеченная и положенная рядом, *десятиминутная* Оленька причмокивала губами, прося есть, и смотрела матери прямо в глаза. Значит, опыт здесь ни при чем — нет нужды экспериментальным путем проглядывать миллиметр за миллиметром необъятное земное пространство, чтобы найти в нем затерянные, как в пустыне, цветущие оазисы глаз. Наоборот, то духовное, зрячее, что приковывает взгляд младенца, есть исток и предпосылка дальнейшего познавательного движения по миру, а не итог блуждания среди неодушевленных поверхностей.

Если глаза после рождения сразу устремляются к глазам, не значит ли это, что они знали друг о друге еще до рождения? Видящие, они сообщники по невидимому. Младенец именно ищет и призывает чужой взгляд — весь остальной мир кажется ему более далеким и темным, хотя нам, взрослым, он представляется более ясным, устойчивым, чем глаза с их играющим блеском и затягивающей глубиной. Стоит младенцу оторваться от смотрящих на него глаз, как сразу в выражении его лица появляется что-то неуверенное, растерянное, взгляд теряет сосредоточенность и начинает бродить без цели, не зная, на чем остановиться. Как будто видел свет, тянулся к нему — и вдруг попал во тьму, в тусклость и невыразительность предметного мира, которая нам представляется высшей степенью объективности.

Теперь, пытаясь увидеть все глазами Оли, я могу сказать, какое это адское напряжение — вглядываться в неподвижные вещи. Так бывает даже у взрослых, достаточно уже свыкшихся с мироустройством: долго смотрим на что-то — и в глазах плывет; долго стоим на одном месте — и ноги сами начинают

приплясывать. Неподвижность непосильна живому, а тем более такому живому, как младенец, для которого бросить даже короткий взгляд на застывшую вещь — все равно что взрослому смотреть на нее долго и неотрывно, до рези и зыби в зрачках.

11

Каждый вечер мы купаем Олю, вернее, пускаем ее в свободное плавание по ванне в специально сшитом пенопластовом костюмчике, чтобы не тонула. Это — кульминация всего дня, высшие мгновения в ее жизни. Нигде она не чувствует себя так привольно, как в воде. Взбивает вокруг себя пузыри — и сама среди них, как главный пузырь, округло мерцает и колышется, будто только что выдута из той же воды.

Почему ребенку так идет прозвище «пузырь»? «Ах, пузырь ты этакий, губки-то как надуты, и щечки, и животик!» — и умиленный взрослый делает пальцем жест, как бы протыкая этот пузырь. Действительно, в ребенке, даже худеньком, есть какая-то пухлость, раздутость, словно напоминание о том, что он возник из «ничего». Пузырь ведь тоже — из ничего: не было — вдруг выскочил на воде, и ничего ведь не прибавилось, только воздух в водяную оболочку просочился, облегчил ее и опрозрачнил. Только быстрым движением кто-то взбил пену…

У самого источника творения мы ощущаем сильнее всего, что форма образуется пустотой, что она нематериальна, и потому всякое новорожденное существо, в котором чистота созданной формы еще не отягощена плотностью материального мира, похоже на пузырь. «Простая форма пузыря является той *самой общей* основной формой, из которой развиваются все животные не только в идеальном смысле, но и чисто исторически», — это я недавно прочитал у основоположника научной эмбриологии Карла фон Бэра[12]. В пузыре «ничто», откуда все изошло, еще не скрыто, но наглядно просвечивает сквозь тончайшую, почти символическую оболочку, в которой окружающий мир преломляется бликами и отблесками, иллюзорно. Все твердое смертоносно для пузыря, как и для младенца, который не случайно питается лишь воздухом да молоком — той же газообразной и жидкой субстанцией, из которой состоит пузырь. Он так же прозрачен, светится весь, будто наполненный воздухом, — плоть в нем еще не отвердела. И то же ощущение хрупкости, как в пузыре, ибо висит на тончайшем волоске, на самой границе бытия и небытия.

Но главное, почему младенцы кажутся пузырчатыми, — из-за их вздутого пузика. У взрослого большая часть объема тела ушла в руки и ноги, которые чаще всего соприкасаются с внешним миром и дальше всего простираются в него. Младенец еще весь в себе, сохраняет округлость очертаний: пузырь явлен в своей чистейшей, шарообразной форме, какая образуется лишь

равномерным напором воздуха изнутри, без искажающих давлений извне. У взрослого же фигура не округло-пузырчата, а угловата, прямолинейна, священная воздухонаполненность покинула его, как у сдутого шарика. Так и слышится обмен репликами между взрослым и ребенком: «Ах ты пузырь!» — «А ты колючка!». И палец, направленный в шутку к пузику младенца, по-своему символичен, как шип, которым ущербная, колючеобразная форма бытия пытается проткнуть — и себе уподобить — воздушный шарик младенчества.

VI. Род

Я дарю своему ребенку всего лишь одну жизнь, несколько десятков лет. Он дарит мне жизнь моих предков и потомков, не имеющую границ.

1

Каждое утро просыпаюсь с чувством чего-то необыкновенного, что обещано с вечера и должно обязательно сбыться. Так бывает в первой влюбленности, когда непрерывно чего-то ждешь, на что-то надеешься — живешь в счет будущего. Дочь раскупорила мое бытие и внесла в него постоянное веяние издалека, какой-то романтизм скитальчества во времени, когда завтра — не просто еще один день, а все новое, неизвестное. И домой я возвращаюсь с таким же нетерпением: скорей, скорей! Какой она стала без меня? Что будет дальше?

Сколько раз в прошедшей жизни возникало у меня безнадежное чувство конца, и если я выходил из этого состояния, то по ленивой привычке жить или прихотливой смене настроения, которое так же легко могло вернуть меня к прежней безысходности. Теперь в моей жизни началось что-то такое, что не может закончиться, — и даже помимо привычек и настроений будет вести дальше и дальше, укрепляя чувство нарастающей новизны, надежды и тайны каждого следующего дня. Если влюбиться уже нельзя, и творчество оскудело, и дружба опостылела, то единственное, к чему невозможно привыкнуть и что не уходит за черту прожитого и изжитого, — это ребенок. Словно в мою жизнь вошел вечный двигатель, чья энергия не столько питается мною, сколько питает меня: ощущение разгона, в котором я вдруг стал подгоняемым.

Самому расхотелось жить — роди другого! Рождение ребенка — единственная глубокая альтернатива самоубийству, когда со своей жизнью покончено и нужно переступить порог. В смерть или в новую жизнь? По Камю, основная философская проблема, мучающая всякого мыслящего человека, это — убить ли себя? Жизнь уничтожает все сделанное человеком и его самого. Разве не унизительно послушно ждать исполнения смертного приговора? Не достойнее ли самому вынести приговор жизни, сознательно отвергнув ее? Кажется, это самая крайняя позиция, которая только возможна.

Но есть позиция еще более радикальная, рвущая с наличностью жизни как таковой, — это создание новой жизни. Кончая с собой, я просто меняю сроки, я принимаю поставленные мне условия, соглашаюсь с ходом существования, неотвратимо ведущим к смерти. Гораздо острее и рискованнее вопрос: жить ли прежней жизнью, которую я получил уже как данность, или самому сотворить новую жизнь?

Это единственный вопрос выше гамлетовского, обращенного

к себе. «Быть иль не быть?» — ибо тут решается, *быть иль не быть другому.* Тут я не принимаю условия, так или иначе навязанные мне от рождения (в том числе неизбежность смерти), а, как свободное существо, сам их создаю. Только творя новую жизнь, я преодолеваю собственную тварность.

Я недавно осознал простую истину: рождение первичнее смерти. Раньше они выступали для меня как равнозначные пределы жизни, но ведь между ними нет симметрии. Смерть обусловлена рождением, но чем обусловлено рождение? Оно никак не зависит от смерти, оно имеет собственное основание — свободу выбора. В создании новой жизни человек полнее и глубже «заявляет своеволие», чем в убиении себя. Странно, что подобная мысль никогда не приходила в голову ни Альберу Камю, ни Кириллову у Достоевского, для которых самоубийство — самый дерзкий вызов Творцу, обрекающему человека на смерть. Да какой же вызов, когда совсем наоборот — приятие, и притом весьма угодливое и раболепное: забежать вперед палача, чтобы отсечь голову самому себе.

Смерть предрешена, как и дальнейший ход жизни, самим фактом рождения, и лишь одно мгновение, начальное, зачинающее, заключает в себе тайну полной непредрешенности. Только в этом мгновении и может сосредоточиться воля человека, равная воле Творца. Если притязать на человекобожество, на соперничество с Богом, то в поступок нужно превращать не смерть, и без того неминуемую, а рождение. Целая жизнь, подобная твоей, вмещающая бесконечное содержание, мысль, наслаждения, страдания, открытия, — все это может быть или не быть и коренится в твоей свободной воле.

2

Николай Бердяев пишет в «Самопознании» о глубоком своем отвращении к родовому — антитезе свободного. Почти физиологическую брезгливость в нем вызывали, например, отец и сын, похожие друг на друга. «У меня всегда была мучительная нелюбовь к сходству лиц, к сходству детей и родителей, братьев и сестер»[13]. В этой родственности чудилась ему закрепощенность физическим законом, печать какого-то проклятия, тяготеющего над человеком. Никак не вырваться из удушающих объятий матери-природы. Даже в высоких, неповторимых личностях есть какая-то вторичность, отштампованность лица, доставшегося в наследство от предков. Родовым подобием клеймит природа человека как раба своего.

В Оле есть только одна черта неоспоримо моя — ямочка на подбородке. Как через увеличительную линзу, в ней для меня фокусируется радость рода. Эту радость можно сравнить с тем, как если бы любимая смотрела на меня и говорила: «Как я люблю твои глаза! Когда я смотрю в них, мне хочется, чтобы они были всегда». Так и с моей ямочкой — но сильнее. Там ведь только пожелание, чтобы «это было всегда», — а тут мое в дочери уже само увековечилось. Эти воспроизводимые родовые черты — не есть ли награда Бога своим творениям, знаки такой любви, где желание и свершение едины?

И в бердяевской брезгливости к этим отпечаткам мне чудится что-то внешнее — непроникновение в тайну родственности как запечатленной любви. Разве «образ и подобие», передаваемые от Бога человеку и от родителей ребенку, — это рабские клейма, а не меты любви, стремящейся увековечить любимое, вычеканить в череде сменяющихся поколений четкий, нерасплывающийся образ? А главное, среди всех признаков, которыми объединяются люди: социальных, национальных, профессиональных, идейных, партийных и пр., — разве есть хотя бы один более индивидуальный, «отличительный», а не «обезличивающий», чем это презренное родовое сходство?

Как странно: нам не кажутся пошлыми знаменитые политики и актеры, кумиры миллионов, образцы для тысяч подражателей, а в похожести двух людей, отца и сына, которые среди всех живущих одни только и подобны друг другу, нам видится что-то стертое, обезличивающее. Подобие родителей и детей — единственное, в котором никому постороннему не дано участвовать и которое не допускает никакой подмены, в отличие даже от брака, в который можно вступить не единожды. Род лишь

со стороны выглядит как рабская похожесть, изнутри же он — знак исключительной посвященности и избранничества.

И потому-то люди так любят разгадывать тайну детских лиц. Первым делом сравнивают внешность ребенка с родительской: «А на кого он больше похож?» В слитости отцовских и материнских черт как будто проглядывает даже ночная тайна супружества, тайна, перед которой и сами родители чувствуют глубину своего неведения. Оттого и готовы без конца спрашивать у знакомых: «Как вам кажется, на кого он больше похож?» — утверждаясь заново в правильности своего любовного выбора, коль скоро он подтвержден природой и безошибочно запечатлен в ребенке. Только здесь — ответ на вопрос, неясный им самим: о том чудесном случае, который провел их мимо множества других, равновероятных союзов и судеб и в точно назначенный час привел навстречу друг другу, соединив в неповторимости этого детского лица. В нем все о двоих, так же таинственно, как в шепоте и поцелуе, — черта к черте, с той же избирательностью, с какой соединяет любовь. Но если в любви еще можно ошибаться, ускользать, изменять, то в лице ребенка узаконена единственность, уже не допускающая никакого произвола, и даже сами родители, глядя на него, глубже постигают тайну своей «единой плоти».

Весь пафос Бердяева — усиление личности против рода. «Черты родового сходства мне представлялись противоречащими достоинству человеческой личности»[14]. Но именно продолжение рода позволяет усиливаться личностному началу через тот любовный, самый личный на свете выбор, который из поколения в поколение совершают родители. И если согласиться, что у потомков лица ярче и своеобразнее, чем у предков, то не потому ли, что между ними — великое поступательное движение любви? Любовь отбирает в каждом поколении тех единственных, от кого должны произойти — с нарастающей степенью избирательности — лица следующих поколений. Любовь гораздо более личностна, чем личность сама по себе, которая, не любя и не выбирая, остается пустой абстракцией особи, равно годной ко всем сочетаниям. Отбор идет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. И вот на высоте этого выбора, где каждый из любящих не просто воспроизводит свою единственность, но возводит ее в превосходную степень благодаря соединению с единственным другим, рождается новая жизнь — одна уже не из миллионов, а из всех возможных сочетаний между миллионами. Каждое лицо — итог и олицетворение неутомимого любовного поиска, индивидуальность которого от поколения к поколению возрастает в геометрической прогрессии. Воспроизведение и есть

путь к неповторимости.

3

Есть минуты в жизни Олиного лица, когда все оно делается похожим на мое, — не черточкой одной, не ямкой, а своим первообразом. Это — когда она плачет, когда веки мгновенно припухают, а подбородок дрожит и становится мягким и расплывчатым. В этом искажении ясного, улыбчивого лика и проглядывает вдруг самое мое, так что к жалости в эти минуты примешивается еще особое чувство соучастия и вины, будто это из-за меня она родилась такой несчастной.

«Маленькая моя, — утешаю, — родная», — и это слово для меня вдруг наполняется пронзительным смыслом: мы единственные с тобой в бедствии, обездоленности, эту привычку страдать ты взяла от меня, другие нас не поймут. Как хорошо бывает твое лицо в часы покоя, общения, радости! Все говорят: «Вылитая мать». А мое с тобой сходство никто и не подметит, оно не постоянное, оно не в лице твоем, а в том, что стирает черты лица, взрывает его изнутри — в морщинках, припухлостях, гримасах. Мое самое кровное передалось тебе не во внешности, а в том, что колеблет ее, разбивает твой светлый и слаженный облик. Бедная, никуда ты не денешься от меня! Я скрыт в тайниках, в исподе твоего лица, в том, что через плач выступает наружу, что в старости твоей, быть может, и станет лицом.

Два первых года своей жизни, рассказывает мама, я плакал почти непрестанно. Смотрю на детские свои снимки: и тут плачу, и здесь плачу. Там, где я мирно играю, у меня лицо правильное, даже красивое, однако — не мое. А мое теперешнее — скорее из плачущих тех фотографий, где черты смазаны и размыты, глаза воспалены, лоб горит. Лицо вылепилось плачем.

Да и не только мое. Эта отягощенность скорбью — не общая ли еврейская черта? Столько сказано уже на тему плача еврейского, разбитого облика, искаженной пластики, на тему Иова и Исайи, что и не повторять бы мне сейчас, — если бы в Оле это внезапно не повторилось. Мгновенно оплывающие губы, скулы и веки — в них то, что чувствую и в своем лице: вздутость линий, как бы выходящих за положенный им предел, выпрыгивающих из лица, — не желающих во что-то целое составляться. Именно припухлость рельефнейших черт, окаймляющих лицевые отверстия: надбровных дуг и век, окружающих глаза, губ и скул, стягивающихся ко рту, носовых крыл, прилегающих к ноздрям, — здесь-то и заключена тайна национальной физиономии. Вся она, вобравшая бесчисленные рыдания, набухла и выдалась вокруг тех отверстий, где железы

внутренней секреции «рассекречивают» себя. И в Оле, с ее новорожденной влажностью и обилием слез, особенно видима эта многовековая отечность лиц наших предков.

4

Л. заметила, что с тех пор, как я стал отцом, во мне резче обозначилось национальное, — и действительно, с рождением дочери я почувствовал большую близость к своим предкам, быть может, потому, что сам стал одним из них. Дело не только в родовом укладе как таковом, в семейственности, где евреи традиционно искали прибежища от враждебной им государственности. Мне кажется, что отношения отца с дочерью как-то особенно значимы и лелеемы в еврейской семье, тогда как в центре античной и христианской культуры стоят скорее отношения матери и сына. Знаменательно, что кровосмесительный комплекс у греков получил название эдипова — сын соединился с матерью, тогда как в Ветхом Завете параллелью может служить история Лота, с которым возлегли его дочери.

Вообще, идея нежных, влюбленных, ревнивых отношений между отцом и дочерью навеяна мне по преимуществу еврейской литературой — чего стоит только самый «архетипический» ее персонаж у Шолом-Алейхема, Тевье-молочник, у которого семь дочерей и ни одного сына[15]. Это же отцовско-дочернее — и в «Венецианском купце» Шекспира (любовь Шейлока к дочери Джессике, которая его предает), и в «Еврее Зюссе» Л. Фейхтвангера, и в «Закате одного сердца» С. Цвейга, и у И. Бабеля в «Конармии»[16], и в рассказах о погромах, где отец предлагает свою жизнь в обмен на честь дочери. Типичная ситуация: сильный, волевой мужчина-еврей, прекрасно ведущий свои дела, достигший видного положения в обществе, но единственное, чем он при этом дорожит, как сокровищем, — это невинная дочь. И если дочь переходит во владение другого мужчины, жизнь отца теряет смысл, как показано у Цвейга и Фейхтвангера. Зюсс и Соломонсон так страстно отстаивают девственность своих дочерей, испытывая отвращение при одной только мысли об их женской инициации, что становится ясно: девственность — это форма верности дочерей своим отцам.

Не связана ли эта отцовско-дочерняя нежность у евреев с природой их религиозных воззрений? Иудаизм есть вера в Бога-Творца, Отца, который пестует свой народ, Израиль, как дщерь возлюбленную. Дочерняя покорность отцовской воле — основа всей иудейской морали, и потому самый употребительный библейский образ вероотступничества — блуд, который израильский народ творит с другими богами, с идолами. Пророки клеймят Израиль как блудницу, нарушающую завет

девственности и целомудрия, который заключила с Отцом своим. «А ты со многими любовниками блудодействовала, — и однако же возвратись ко Мне, говорит Господь… Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: «Отец мой! Ты был путеводителем юности моей!..» …За все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо» (Иер. 3: 1, 4, 8). Эта почти супружеская трепетность и накал отцовских чувств к дочери лежат в основе всего еврейского мироощущения и семейного уклада.

В христианстве, генетически восходящем к иудаизму, но принятом и переработанном языческими народами, идея отцовско-дочернего союза уступает мотиву материнства и сыновства. Культ Богородицы, в ее безграничной любви к Сыну, — едва ли не основное содержание всего христианского искусства. Достаточно взглянуть на леонардовскую мадонну Литту, на этот истонченный, как бы истаявший от нежности профиль, на этот страдальчески кроткий и самоотверженный взор с поволокой, взор матери-девы, которой не нужен ни один мужчина, ибо есть обожаемый сын, — чтобы почувствовать новую доминанту родовых отношений: мать — сын. И точно также как еврейский архетип освящает верность дочери отцу, так европейский освящает безбрачие матери, целиком отдающей себя сыну. Эти священные прообразы в своем кощунственном варианте обращаются в кровосмесительный союз дочери с отцом или матери с сыном, но ось родовых отношений при этом остается неизменной.

Суть в том, что человек, согласно древнейшим языческим верованиям, ведет свою родословную от земли, от женского начала, исходит из лона матери-природы, а не от Бога Отца. Вероятно, культ Богоматери, для которого тексты, возникшие в иудейской среде, включая Евангелия, не дают почти никаких оснований, преемственно восходит к индоевропейской мифологии рождающей земли. Женское для индоевропейцев является исходным, творящим, а мужское — производным, поэтому преобладает линия мать — сын. Для евреев в основе мироздания лежит не плодоносящее тело природы, но отеческая воля Бога, по отношению к которой все сотворенное является женски-покорным, «тварным». Вот почему родительское начало в еврейской семье выступает «архетипически» в образе отца, а детское — в образе дочери: это соответствует порядку миротворения, в котором Бог Отец печется о своем избранном народе как о дщери. Такова семейственность высшего порядка, символически определяющая уклад земной семьи.

5

Хотя Оля начала жить совсем недавно, но именно через нее мне распахнулась такая даль времен и непрерывность судеб, какую я в своем куцем «индивидуальном» существовании постичь не мог. Мои тридцать лет были внутри одной, замкнутой в себе жизни, а три Олиных месяца выводят меня в жизнь другую, настежь распахнутую. Есть ли разница, откуда вступаешь в море? Ведь оно сразу оказывается со всех сторон. Жизнь, продолженная хотя бы на день или месяц за свои пределы, начинает вмещать и простор предыдущих тысячелетий, каждое «потом» отзывается в «прежде». Бесконечное не имеет количественных степеней, оно возникает сразу и во всем; появление ребенка мгновенно превращает меня в очередное звено протянутой через меня цепи.

Рождение — взаимное одаривание родителя и рожденного, но как не равноценны эти дары! Я дарю своему ребенку всего лишь одну, совсем короткую жизнь, несколько десятков лет. Он дарит мне жизнь моих предков и потомков, не имеющую границ. Кто кому должен быть благодарен? Весь родительский труд попечения, воспитания, самопожертвования ради детей — не есть ли это лишь неподобающе малая плата за такое приобретение, как вечная жизнь рода? Ведь рождая ребенка, мы обрекаем его на смерть, а он дарит нам бессмертие.

6

Оля лежит у меня на руках, а Л. нагибается к ней, заворачивая в одеяло. И оттого, что Л. склонилась над моими руками, я чувствую новую для себя, непривычную позицию в пространстве: мы вместе, почти прильнули к друг другу, но устремлены к тому, что находится *между нами.* Эта кривизна пространства *между нами,* свернувшегося, как кокон, вокруг нового маленького тельца; эта сдержанная и расширенная теплота, уход друг от друга и встреча в ином, не кратчайшем отрезке, — странны немного, как смещение оси у нашего мира. Мы-то привыкли общаться прямыми взглядами, прямыми касаниями, а теперь все сдвинулось. Будто из евклидова пространства, где двое связаны по прямой, мы попали в лобачевское, в неэлементарную геометрию, где двое связаны кратчайшим образом — по кривой, проходящей через третьего.

И вообще, не есть ли переход человека из одиночества в брак, а из бездетного брака в детный и многодетный — постепенное усложнение геометрии бытия? Так от точки мы переходим клинии, связующей две точки, а от линии — к плоскости, связующей две линии; и это умножение кровных связей ведет нас все глубже в непознанную мерность мира.

«Точечный» эгоизм одного преодолевается в браке, «линейный» эгоизм двоих — в ребенке, «плоскостной» эгоизм единственного ребенка — в других детях, «кубический» эгоизм целой семьи — в браках детей и соединении с иными семьями… и вот уже человечество не отвлеченно, а осязательно постигается как единая плоть, вся пронизанная узами родства.

Теперь я понимаю, как просто и незаметно, каждым взглядом и прикосновением плетутся эти узы… Снизу Олю поддерживают мои руки, сверху облегают руки Л. и склоняется ее голова, я смотрю на них обеих, и все это замыкается в моем взгляде, все линии заботы сплетаются в многомерный клубок надышанного, почти горячего пространства.

7

О своих отношениях с Л. я совсем не могу писать, а об Оле — очень охотно. Первое имя я скашиваю до начальной буквы, а второе готов повторять до бесконечности. То, что между супругами есть и должно оставаться тайной, через ребенка выходит наружу как естественное ее раскрытие. Два законных стремления: мужу с женой — ото всех уединяться, скрывать свои отношения, ребенка же — охотно показывать, любоваться им в широком кругу близких и дальних.

Когда ребенок рождается, не только мы выводим его на свет. Одновременно и он нас на свет выводит, из темных подсознательных наших недр, и наделяет новым зрением и даром речи. Кажется, один и тот же солнечный дух витает и над младенцем, выходящим из чрева, и над словом, вылетающим из уст. Только после рождения Оли прорвалась наконец во мне затяжная немота, внутренняя жизнь вдруг обрела язык, сразу и телесно, и словесно сказалась.

Прежде я сильно страдал от отсутствия сюжета. Не только литературного, но и жизненного, магистрального. Все было как-то вразнобой, и перебивался я отдельными заметками, вклиниваясь репликами в диалог чужих умов и судеб. Я даже собирался составлять «сумму сумм» из одних только чужих фраз, великих афоризмов (буквально — «осколков»), чтобы в итоге явить мировую мудрость и возвестить всеобщее утешение.

Но этот собирательский замысел отпал, как только родилась дочь. Тут у меня сюжет и появился — не только тема, но и мысль всей жизни, проходящая через разные темы. В мою жизнь вошла долгота, медленное и пристальное слежение — день за днем, минута за минутой, и все одним пронизано — новизной души, впервые в этом мире себя узнающей.

«Сюжет» буквально, в своей этимологии, означает «подкидыш» (латинское *subjectus,* французское *sujet),* и в этом глубокий смысл: ребенок, вторгшийся в жизнь, и есть «подкидыш», пружина сюжета — сама внезапность, источник изумления и нетерпеливого ожидания, страница «чрезвычайных происшествий», зримый рост, отмеряющий движение и мое, и всего на свете.

VII. Воспоминания

Для взрослых детство — утраченное самозабвение, для детей — приобретаемое самосознание. Это время величайшей растерянности и одиночества.

1

Я пишу о дочери, все более сознавая ограниченность такого одностороннего описания. Ведь не только я воспринимаю ее, но и она меня. И это ее восприятие, пожалуй, даже ближе и «свойственнее» мне самому, чем мое собственное.

Вот я, держа Олю под мышки, смотрю в зеркало. Оля смотрит на себя, я — на нее. И так хорошо я понимаю, что она сейчас чувствует, прижатая к папиному животу. А вот кто такой я сам — решительно не понимаю, глядя на большого бородатого человека с бледным, словно застывшим лицом. Что такое «папа»? Этот звук и образ осмыслены лишь для ребенка, а самому быть «папой», отождествить свое «я» с «папой» — в этом есть что-то неестественное. Папа — всегда «он». Чужой человек смотрит на меня из зеркала.

В том-то и дело, что «я» изначально формируется так: «я» — маленький, а вокруг меня взрослые: папа, мама, дедушки, бабушки — «они», живущие другой, непонятной мне жизнью. «Я» — первичное и глубочайшее — определяется в противоположность всем другим людям, и прежде всего самым близким, родителям. «Папа» — тот, по отношению к кому я исходно определяю себя. И теперь, когда я сам стал папой, я уже с трудом могу соотнести себя с этим словом. С другими людьми, от которых не зависело мое раннее самоопределение — как муж, как друг, как сын, — я по-прежнему я, но почувствовать себя собой в качестве «папы» — не могу. «Папа» — это кто-то другой, и я скорее глазами дочери, чем своими, смотрю на этого бородача, выглядывающего из-за ее спины.

2

За последние годы, что я не один, я отвык сосредотачиваться на своем «я» — казалось, навсегда избавился от привычки к саморазглядыванию, которая преследовала меня в отрочестве и юности. В эти годы зрелости мое «я», зарастая жильем-быльем, жило в ладу с собой, и я радовался такому простому существованию, устремленному вверх, к плодоносящей кроне, а не вниз, к темным и сырым корням своего «я». Сейчас же меня вновь потянуло к первооснове, к вопросам о том, что само вопрошает, к томлению о том, что само томится. Естественный ход жизни, ранее уводивший меня в окружающий мир, теперь возвращает к себе. Родилось дитя, и жизнь моя начинается как бы заново, завершив полный круг — от рождения до рождения.

Еще недавно я был уверен, что только в старости захочу оглянуться назад, на свое прошлое. Но оказывается, что до собственной смерти есть еще рождение другого — столь же оборачивающее на себя, требующее самоосознания. Теперь вновь ко мне возвращается младенчество, детство, отрочество, все это я стану переживать по второму кругу, словно в замедленной съемке, позволяющей разглядеть и осмыслить то, что в первый раз было прожито впопыхах.

Тут само бытие раздвоилось на «меня» и «ее», и самосознание не разрушает, а, напротив, скрепляет его целостность. Как я могу понять Олю в ее настоящем и будущем, не возвращаясь к своему прошлому? Ведь если она изо всех сил растет, сближается со мною, то неужели я не пойду ей навстречу, не спущусь в доступные мне самые ранние слои своего детского опыта?

3

Поздний вечер. Я сижу рядом с Олей и стараюсь понять, о чем она думает, когда подолгу лежит в темноте с открытыми глазами. Мне-то скучно смотреть на вещи, досконально изученные при дневном освещении, но для нее этих вещей нет, а есть только сгущения и разрежения тьмы в тех местах, где они были днем. Не стекла шкафа там отсвечивают, а отсветы неподвижно парят в воздухе. Я пытаюсь увидеть комнату Олиным неузнающим взглядом, и комната исчезает, остается только скопище теней, призрачное пространство, состоящее из расплывов, зияний, уплотнений… Как будто мир перенесен на абстрактное полотно, где стерты знакомые очертания и остались только расплывчатые пятна и контуры. На эту картину, открывшуюся младенцу, можно смотреть бесконечно, она все время меняется, мерцает, как пламя, или колышется, как волна.

Вот и смотрит Оля долго-долго, не закрывая глаз, но застыв зрачками — как будто уже уснула. Однажды соседка, видя, как Оля замерла в коляске с открытыми глазами, так ответила на мою жалобу, что, дескать, никак не заснет, сколько ни убаюкивай: «Да ведь она уже спит!» Не знаю, правда ли это, но похоже на правду: ей, маленькой, и не нужна эта перегородка смеженных век, потому что мир для нее воочию так же расплывчат и зыбок, как для нас в сновидениях. Чтобы понять, о чем думает Оля, надо увидеть все глазами спящей — всматриваться в мир так, как мы смотрим в себя, в туманный рой видений. Миросозерцание как грезовидение.

4

Еще одно состояние, когда так же незаметно стирается грань между образом и реальностью, — болезнь. Не мучительная, страшная, а легкая, освобождающая, беспечная болезнь, которая соотносится с тяжелой, как сон — со смертью. От нее не умирают, а дольше спят, наяву чуточку бредят. Простуда, озноб, градусник, малина, чай, молоко. Во время такой болезни я чувствую возвращение детства, и мне особенно приятно, что мама рядом.

Да и сама по себе болезнь — рецидив детства, возвращение к той же стадии неготовости, когда организм еще не обособился от внешнего мира и потому так податлив и уязвим. Если сон есть размытость сознания, то болезнь — размытость тела: будь это заражение, нагноение, набухание, лихорадка — все равно контур снят, сдвинут, организм лишен суверенности и защиты. Тогда оголяется детское в человеке — то, что особенно нуждается в материнском тепле и покрове. Когда я болею, мама приобретает для меня такое же значение, какое имела в детстве: становится всеведущей, всемогущей, высоко стоит надо мной.

5

Я хочу добраться до первых своих воспоминаний, до той границы, где раньше всего застаю себя собой и где, быть может, теснее всего сближусь с Олей. Развернуть круто загнувшийся, туго слежавшийся свиток памяти.

Я знаю, что пережил в раннем детстве несколько достопамятных событий, в частности опрокинул на себя с плиты кастрюльку с кипящей кашей. След от ожога остался на моем виске, но не в моей памяти. Видимо, ребенку запоминается совсем не то, о чем ему впоследствии могут рассказать взрослые. Чем дольше живет человек, тем более чрезвычайны и необычны должны быть явления, западающие в его память, ибо слишком многое на его веку уже повторилось, сгладилось в опыте… У ребенка же еще нет этого обкатанного опыта, и самые обыденные вещи как раз и запоминаются — ярко и прочно. И наоборот, все чрезвычайное захватывает ребенка целиком, не оставляя никакого места самосознанию, взгляду со стороны. Этот жуткий ожог, от которого на полгода почернела половина моего лица, — ожог, столь памятный родителям, и не мог мне запомниться, ведь он стал частью меня самого.

Но то, что случается каждодневно, что ближе и привычнее всего, — то и запоминается: ты вдруг смотришь на все это как бы издалека, невовлеченным взглядом. Сколько раз мы видели это будто во сне — и вдруг просыпаешься и осознаешь: вот оно, само по себе. Каждое воспоминание пробуждает нас, и все наше возрастное развитие есть такое постепенное пробуждение… Вплоть до смерти, которая последними воспоминаниями подведет отрезвляющий итог всей жизни как сну, вместившему в себя много других снов.

И если детство есть нечто внутри себя, то не сон, как мне поначалу, из взрослого бдения, казалось, а самое раннее неумолимое пробуждение, с криком и слезами. Удивительно ли, что именно таково мое первое воспоминание?

6

Первое, что я помню (и помню твердо, с самого детства, а мои родители ничего такого не запомнили, слишком уж будничное событие), — это одно свое летнее пробуждение. Вьются занавески, поскрипывают рамы, воздушная тревога во всем доме, а я кричу и плачу навзрыд в своей кроватке — никто ко мне не подходит, и не знаю, сколько длится вокруг меня этот ветряной кавардак, такой бесцеремонный, угрожающий… Потом уже сижу на диване, и соседка Нина Викторовна успокаивает меня — протягивает мне тонкую желтую книжечку, на обложке которой нарисована девочка-замарашка со спущенным чулком. «Ах ты, девочка чумазая, где ты ножку так измазала?» Почему из всего множества событий именно это запомнилось мне?

Возможно, первое воспоминание, выводящее из младенческого забытья, уже откладывает отпечаток на всю сознательную жизнь. То, от чего отстранились мы, что запомнили, — не это ли, насущное и вместе с тем трудное для души, и составит предмет дальнейших исканий, сомнений, раздумий? Не стану распространяться, почему округлая доброта нашей соседки (по рассказам, она первая искупала меня — мама по неопытности боялась), почему шуршание, желтизна, гладкость этой тоненькой книжки, почему вид сбившегося чулка и измазанной пухлой ножки, — почему все это отложилось в раннем слое моего сознания и ясно просвечивает сквозь тысячи других слоев, задавая им общий рисунок. Объяснить это — значит понять, что из меня стало и почему я такой…

Теперь же меня больше всего занимает другая загадка: она олицетворяется не соседкой, не книжкой, не девочкой на обложке, а маленьким (годовалым? двухлетним?) мальчиком, первым воспоминанием которого стало это ветреное утро и страх пробуждения. Что мы можем знать о детстве изнутри, пока оно еще не успело перенестись в область воспоминаний? А если этого нам знать не дано, то по крайней мере первые воспоминания обозначают ту границу, когда мы еще и внутри детства, и уже за пределом его. Вот почему так хочется опять и опять прикасаться к этому дальнему краю памяти, даже и без надежды его «отогнуть».

7

Еще одно воспоминание, которое по давности соперничает с первым — то ли чуть раньше, то ли позже, но оба они решительно отстоят от всех других, более поздних и уже ясно относящихся к определенному времени. Это как горизонт, про который нельзя сказать, где он, — очевидно лишь, что он там, за всем, позади всего остального. Так и эти два воспоминания образуют горизонт моего «я», за который я не могу заглянуть.

Поздний вечер, я сплю в своей кроватке и вдруг просыпаюсь. Это папа тихо, крадучись, чтоб меня не разбудить, входит в комнату; а я открываю глаза и гляжу на потолок, по которому бегают светлые полосы от проносящихся под окном автомобилей. Окна нашего пятого этажа выходят на оживленную магистраль, и оттого вся комната днем пронизана гулом города, а ночью — вот эти полосы… Набегая друг на друга, они проносятся по темному потолку, и трудно оторвать глаза от этого непрестанного, завораживающе-однообразного мельканья.

Тут я слышу монотонное позвякивание и прихлебывание и догадываюсь: папа пьет чай, помешивает ложечкой в стакане, отпивает глоток за глотком. Так я лежу, не смыкая век, весь во власти этого двойного ритма — мельканье на потолке, позвякивание за столом, и страшная тоска вдруг охватывает меня. Я словно наперед вижу всю свою жизнь — сплошное чередование полос и звуков. Мне кажется, что я в какой-то стране, где царят вечные мрак и тишь, прерываемые только этими световыми промельками и позвякиванием ложечки. Больше не будет дня и солнца, не будет живого голоса. В детстве мы еще не вполне уверены, что ночь сменится днем, что это закон мироздания, а не чья-то краткосрочная прихоть. И я прихожу в отчаяние от того, что ночь не кончится никогда, а я так и не сумею заснуть и буду вечно смотреть на эти мелькания — мука живого, заброшенного в царство теней. Я лежу, плотно укутанный одеялом, словно не вышедший еще из материнской утробы, и не могу ни родиться — встать с постели, ни умереть — безмятежно заснуть.

Дети, как известно, страшно не любят ложиться спать, каждый вечер учиняют бунт — но разве это потому, что им спать не хочется? Наоборот, они боятся не заснуть. Сон им сладок — ужасна бессонница, тот неизбежный промежуток в переходе ко сну, когда вокруг уже все замерло, а ты еще жив. Вот эта растущая бодрственность сознания, которая разрушает младенческое забытье и затрудняет погружение в сон, — она-то и мучительна.

8

Итак, два первых воспоминания: одно утреннее — просыпаюсь с плачем; другое вечернее — не могу заснуть… Случайно ли, что оба они — на границе дня и ночи, там, где бытие, сплошь и гладко несущееся сквозь время, как бы спотыкается на неровных стыках между явью и сном?

Конечно, не обязательно, чтобы первыми запоминались именно пробуждение или незасыпание. Это вовсе не предмет воспоминания, а его первотолчок: очнуться, прозреть. У меня же так наглядно совпало, что суть воспоминания запечатлелась на тождественном ему предмете: пробудилась память впервые в миг пробуждения, не заснула — в миг незасыпания.

Любое воспоминание включает раздвоение, взгляд на себя со стороны. Днем мы обычно слиты с окружающим миром, ночью погружены в себя. Именно в промежутке между этими двумя состояниями, когда мы не принадлежим полностью ни тому, ни другому, чаще всего возникает отрешенность, невовлеченность. Тогда мы запоминаем и себя, и окружающее: внутреннее, из которого вышли, и внешнее, в которое не успели войти. Воспоминание, по сути своей, это зависание между сном и явью: душа, проснувшись наполовину, оглядывает себя и мир издалека: еще безучастная, но уже начинающая сознавать себя.

Соответственно два рода воспоминаний: резкие, как пробуждение, тягостные, как бессонница, — заполняют все мое детство и даже отрочество. Если вначале они возникали буквально на пересечении ночи и дня, то впоследствии уже не прикреплялись к конкретному времени. Условно их можно разделить на воспоминания «от стыда и страха» и воспоминания «от скуки и тоски». В первых ощутим испуг внезапного пробуждения, выпадения из тьмы на свет; во вторых — тоска неодолимой бессонницы, долгого бездействия во тьме.

Яснее всего мне запомнились в детстве моменты, когда действительность казалась удручающе однообразной, когда я оставался один, среди неподвижных вещей, и ничто вокруг не менялось. Тогда, равнодушный к миру, я мог объективно созерцать его — таким, бесконечно скучным, не дающим увлечься и забыться, он мне и запомнился. Вот, например, в пасмурный зимний день я гуляю один во дворе и от нечего делать втыкаю палку в сугроб — десять, сто, тысячу раз я поразил его насмерть, тоскуя от бедности своей затеи, зато запомнил навсегда.

Иногда же, наоборот, я вел себя резко, вызывающе, вразрез с привычным порядком. И моменты, когда я бывал застигнут

врасплох, за недозволенным занятием, тоже запомнились — я как бы видел со стороны свою самость, выпавшую из тьмы на свет, и стыдился ее. Я помню, как на даче подглядывал за игрой взрослых в карты, за их вечерним застольем, затаивался возле дверной щелки или под окном… Даже если я не бывал захвачен на месте преступления, все равно, подглядывая за другими, я подглядывал как бы за самим собой, видел себя их глазами и корежился от стыда.

Часто скука и стыд сопровождали друг друга: помню, например, каким скучным мне казался сосед по коммунальной квартире, дядя Федя, и как мне было стыдно, когда я обозвал его дураком. Помню, как я подбирал и припрятывал монетки и как мне стало стыдно, когда их обнаружили. Именно вокруг этих болевых точек детства и сосредоточиваются воспоминания: в них либо действительность предстает отчужденной от «я», бездушной, унылой, либо самость предстает отчужденной от действительности, дерзкой, постыдной. Тогда-то и начинало работать сознание — как невозможность слияния «я» с миром, болезненный разрыв в непрерывности бытия. Либо скука — равнодушие к жизни, либо стыд — презрение к себе: вот два могучих источника памяти и рефлексии. Потому детство, дошедшее до меня в свете самосознания, освещено так тускло — в серости будней выделяются лишь черные провалы постыдных затей.

9

Но откуда же тогда представление о детстве как о самой яркой, ослепительной поре? Лев Толстой и Сергей Аксаков, Иван Бунин и Владимир Набоков — разве ощущения счастья и веселья, самозабвение, огромность и непосредственность впечатлений, которые преобладают в их воспоминаниях, не составляют сущность детства? Но может быть, их писательский взгляд направлен *туда,* а не *оттуда?* Одно дело — глядеть на свет, другое — из света: все кажется темнее. Для взрослых детство — утраченное самозабвение, для детей — приобретаемое самосознание. И когда Бунин пытается взглянуть оттуда, глазами ребенка, у него вырывается скорбный возглас:

«Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое»[17].

Конечно, взрослые ищут в детстве прежде всего то, из чего они сами уже выросли: умилительную наивность, невинность и целомудрие. Сами же дети постоянно ощущают потерю и дробление своей цельности, раздвижение и враждебность пространства, раньше любовно их облекавшего. Каждый день ребенок покидает обжитый им накануне мир и переселяется в другой. Скитальческая тоска, быстрая смена привязанностей. Прежняя, бессознательная связь с мирозданием слабеет, новая, сознательная, еще зыбка и не обеспечивает уверенности, уюта. Детство — это глушь, заброшенность, стремительное выпадение в пустоту, тысячи внешних раздражителей, на которые неизвестно как ответить, и тысячи внутренних побуждений, которые неизвестно как утолить. Это время величайшей растерянности и одиночества, разрыва природно-непосредственных и необретения общественно-условных связей с миром, время гигантского, ни с чем последующим не сравнимого отчуждения.

Взрослый человек может чувствовать себя чуждым тому или иному — каким-то обычаям, нравам, людям, природе; если же он чужд всему, то это состояние, ведущее к самоубийству. Ребенок же в таком состоянии *начинает* жить: он в первые годы проходит ту страшную полосу отчуждения, которая взрослого, закаленного человека способна разрушить.

В замечательном рассказе Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал» связаны напрямую два «недуга бытия»: детский и взрослый. Друг рассказчика, талантливый, трудолюбивый,

преуспевающий писатель (Дмитрий Голубков), необъяснимо для окружающих кончает с собой. Сын рассказчика, маленький Алеша, беспричинно плачет во сне после счастливо проведенного дня:

«Слезы твои текли так обильно, что подушка быстро намокала. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда ушедшее… Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне?»

Проснувшись после этого необъяснимого плача, Алеша странно меняется, как будто переходит в иной возраст, — а всего ему полтора года:

«Я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ножкой по столу, не смеялся, не говорил „скорей!“ — ты смотрел на меня серьезно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не мое продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдешь навсегда. В твоем глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!»

Невидимое горе и тревога заставляют плакать во сне маленького мальчика, переживающего духовное отторжение «я» от начальной цельности, слитности с бытием. И эта же болезнь бытия толкает к необъяснимому самоубийству взрослого, сильного и, казалось бы, счастливого человека.

10

Детство можно сравнить с расстройством сна: отсюда необычайная раздражительность, ежеминутная готовность сорваться в крик, залиться слезами — признаки хронического недосыпания. Ведь младенец привык подолгу спать в утробе матери, в самой тихой и уютной из спален, — и вот его помещают в среду, где все его будит или не дает заснуть: свет, мелькания, прикосновения, шорохи, голоса… В первые Олины месяцы мне казалось, что расстройство сна — самое мучительное в детстве. Теперь, возвращаясь к своим воспоминаниям, я вижу, что *само детство — это расстройство сна,* болезненный выход из забытья, раздражение чувств, плененных внешним шумом и блеском, невозможность вернуться в начальный уют. Детство — сплошное недосыпание, благодаря которому и обживается постепенно явь за пределами сна. Это значит, что раздражение становится привычным, обретает форму сознания, то есть *хронической* бессонницы.

И как мучительно жить, пока сознание еще не утвердилось в реальности, не выстроило для себя нового, по-своему цельного мировоззрения, пока оно еще только разрушает дремотный уют, выталкивает не протершего глаза младенца в утренний, знобящий, оглушительно яркий мир!

Потом, созревая, человек обретает новые берег и пристань — в сознании, твердо сомкнувшемся с явью. Мои воспоминания, тусклые в детстве и отрочестве, начинают проясняться к юности. Взрослость мне кажется более счастливой порой, чем детство. Мир, прежде блекло освещавшийся слабыми всполохами сознания, теперь светлеет, прозрачнеет. Скука и стыд были лишь первичными, теневыми импульсами сознания. Зарождаясь, оно разрушало инстинктивную, магическую слитность «я» и мира, которые распадались на стыдную самость и скучную обыденность.

Для взрослого они соединяются вновь — в сознательном действии, целеполагании, умении приспосабливать свое «я» к обстоятельствам и приспосабливать их к себе. Но детство, исторгнутое из сна и не достигшее яви, повисшее, как шаткий мостик, между двумя бесконечностями, — как может оно быть счастливым? Если взрослые тоскуют по детству с его цельностью, то как же оно само должно тосковать, утрачивая ее так стремительно, не по годам, а по дням и часам!

Что же удивляться неземной грусти в детских глазах — скорее стоит поражаться ее отсутствию, по крайней мере до того времени, пока младенец не повзрослеет, не превратится в резвое

дитя мира сего, в того «счастливчика», на кого взрослые завистливо и глуповато умиляются: «Счастливое детство!» А это счастье — уже переход в начальную взрослость, которая отделяет беспечного шалуна от погруженного в себя, болезненно-чувствительного младенца, с плачем выходящего из небытия-забытья.

VIII. Игра

Поскольку самое волнующее для младенца — это опыт возникновения, то игра в прятки, в отнятие и возвращение бытия становится первой и любимейшей.

1

Перемены в Оле столь постоянны и стремительны, что кажется — ничего не происходит. Но стоит задуматься над каким-то мельчайшим событием — и оно по своему значению вырастает до эпохального сдвига.

Вот, например, в три с половиной месяца Оля впервые смахнула рукой ватку со стола — это целый переворот в ее отношении к вещам. Раньше она просто тянулась к ним, а коснувшись, замирала или осторожно убирала пальчик: вещь была для нее заветной целью и одновременно тупиком, неодолимой преградой движению. Когда же Олю поднесли к столу — проверить, заметит ли она ватку, потянется ли к такой малости, она не только потянулась, но и направленным, озорным движением сбросила ее на пол. Сразу ощутилась какая-то новая ловкость и уверенность в ее жестах, будто тело вырвалось из оцепенения. Отныне развенчана магия незыблемых вещей: рука движется дальше — сдвигает, переносит, отбрасывает. Так ребенок учится познавать необязательность совмещения предмета и места, а значит — и всеобщую относительность миропорядка.

Даже воистину неподвижные вещи начинают подвергаться испытанию на переместимость. Прежде, когда я наклонялся над Олей, она благоговейно тянулась к моему носу и осторожно касалась его; теперь крепко хватает и начинает дергать в разные стороны, ни за что не желая признать его незыблемость на моем лице. Так вокруг Оли возникает новый, аналитически расщепленный мир, состоящий из пустоты и подвижных вещей, тогда как первоначально она воспринимала их в нераздельности, как сплошное вещепространство.

Я и горжусь этой новой ее сноровкой, и жаль мне той робости, с какой она раньше тянулась к вещам. Было нечто трепетное и смиренное в том, как она протягивала свои пальчики, осторожно ощупывая незнакомое ей пространство, будто оно живое, способное затаиться и отпрыгнуть. Оля тянулась — и все, что возникало перед ней, становилось благодаря этому недостижимым, запредельным. Теперь она уже не тянется, а тянет, не сама придвигается к предмету, а предмет придвигает к себе или отодвигает от себя — вещи из сакральной неприступности выходят в утилитарную наличность.

2

В ее глазах еще не истаяла застывшая неземная грусть, но тельце подает уже признаки счастливой земной резвости. Вся она — как ручеек, пробивающийся из-под весеннего льда и журчащий все смелее и заливистее.

Раньше она любила лежать на спине и глядеть на все, что высилось перед ней. Очень обижалась, когда ее переворачивали на живот, чтобы она поскорее заснула, — будто бросали в душную непроглядную мглу. Ведь жить для нее значило — созерцать; лежать на спине было единственной возможностью и блаженством присутствовать в мире; а кладя на живот, мы закрывали от нее белый свет, вселенский проем, для которого она родилась.

Теперь же только так, ничком, она и хочет лежать. Мир придвинулся к ней вплотную, из созерцаемого далека перешел в осязаемую близь, и она уже хочет его знать не отрешенно, взглядом, а ручками и ножками, отталкиваясь и пружиня. Не терпит, когда ее кладут на спину, в самое простое и удобное положение, которое словно бы унижает ее, возвращает в бессильную пору младенчества. Сразу начинает реветь и отчаянно дрыгает ножками, как жучок, ищущий былинку, чтобы зацепиться, перевернуться и встать.

Вообще, для деятельного существа нет ничего ужаснее, чем быть перевернутым на спину, в положение чистого созерцательства, когда невозможно передвигаться и защищать себя. Вот и Оле мир уже нужен как почва, годная для копошения, изыскания и всякой озабоченной суеты. Повернуться спиной к небу, лицом к земле — видимо, здоровая потребность любого существа, рыщущего, роющего, ищущего прибежища и пропитания. И Оле приспела эта пора — упереться в земное, упружить, барахтаться, подминая собой толщу мира для обретения легкости и господства над ним.

Когда-нибудь величие этой начальной позы: лечь навзничь, запрокинув голову, — опять к ней вернется, уже как освобождение от суеты, которое изначально дано новорожденному, а взрослому — лишь в высочайшие моменты созерцания. Так упал на поле битвы раненый Андрей Болконский, и тогда-то небо предстало ему во всю свою беспредельную высоту, для постижения которой ему надо было оказаться в беззащитной позе младенца. И в самом деле, он из этой позы «навзничь» как бы заново на свет родился, для жизни иной, которой на земле уже тесно…

3

Все-таки в младенце есть столько чрезмерной, ни к чему не направленной резвости, воодушевления, что она его к земле не прилепляет, напротив, саму землю превращает в свободную стихию. Младенец — живое истечение пространства, которое каждый миг заново развертывается вокруг него — мятое, сбитое в комок, словно детская простынка.

Может быть, смысл теперешнего Олиного копошения состоит именно в том, чтобы отлепиться от плоскости, к которой она раньше плотно прилипала. Повернувшись к ней лицом — оттолкнуться руками; встретиться с земным веществом как равная и свободная, а не покоиться на нем безвольно. Простор, раньше вобранный глазами, теперь подарить своему телу.

Подобно тому как взгляд может легко перебегать с вещи на вещь, уходить и возвращаться, так и рука постепенно обретает вольность зрения. Теперь появился у Оли особый жест — сжимать и разжимать вещь в ладошке. Новое — именно в отпускании, в щедрости расставания с тем, что раньше стискивалось намертво, непоколебимо.

Эта диалектическая манера проявляется и в том, что Оля скребет горошки, нарисованные на подушке, пытаясь выковырять их из полотна. Емкая пустота наполняет ладонь, которая становится по-человечески щедрой и жадной и уже готова отдавать реальное и вмещать иллюзорное. Как будто эта ладошка постепенно вылепляется из вязкой плоти мира, в которой она раньше увязала, плотно сжатая в кулачок или крепко зажавшая какую-то вещь. Теперь она открывается, готовясь вобрать невозможное.

4

Впервые раскрыли перед Олей книжку с картинками — и, вопреки ожиданию, она восприняла ее именно как книжку: не рвала, не мяла, а созерцала. Правда, она тянулась пощупать картинки и царапала их ноготками, как бы для того, чтобы вытащить их из плоскости и перевести в объем; зато объемность самой книги она оставила без внимания. Я сам впервые столь остро ощутил разницу между вещью, пребывающей в пространстве, и книгой, вмещающей пространство в себя. Сила иллюзии такова, что Оля, едва познакомившись с такой невиданной вещью, как иллюстрация, сразу потянулась вглубь ее — в нарисованный, вымышленный мир, соблазнилась им как чем-то реальным, а реальности переплета, плотности и толщины страниц просто не заметила, прошла сквозь эту материю, как сквозь туман, чтобы ощупать образ как материю. Книга — обратна вещи: тут существенно только то, что не существует.

Этот дар воспринимать мнимое и воображаемое — откуда он берется, как воспитывается? Мы нашли его в Оле готовым, и эпизод с книжкой, скорее всего, был уже сравнительно поздним проявлением этого дара. Лишь постепенно, по мере того как нарастала Олина действенность в отношении к реальному миру, потребность его дергать, ворошить, осязать, — созерцательная способность сужалась, переносилась на отдельный иллюзорный предмет: книгу, картинку. Вначале же картинкой, предназначенной взору и отрешенно вокруг парящей, было для нее все окружающее. Когда оно стало подступать ближе и сгущаться в материю, тогда-то и обособилось нечто, куда может уходить беспрепятственно взор, то идеальное, к чему не прикоснется рука. Новорожденный еще как бы из иного мира смотрит на этот, воспринимая его как сон; когда же полностью переселяется в этот мир, обретает его рядом, на ощупь, тогда взгляд ищет дальнейшего пути и устремляется в узкую щель книги, ведущую к иным, воображаемым мирам.

Так что первоначально весь мир — внутри вымысла, и лишь потом вымысел — внутри мира. Книги, картинки — бедные остатки волшебства, обмелевшие, подслеповатые лужицы, куда стаивает переливчатый покров ранних всеохватных сновидений. Все непостижимое, невероятное, чем казалась жизнь, уходит в призрачный объем страниц, раскрашенных плоскостей. Сначала младенец еще пытается извлечь оттуда спрятанный мир, скребется, бьется, как птица о прозрачно-непреклонное стекло, — но, взрослея, постепенно свыкается с его призрачностью и

оставляет в покое, довольствуясь уже чисто эстетическим взглядом и лирическим вздохом.

5

Чем ближе Оля осваивается с реальностью, тем больше в ней склонности к иллюзии — уже не безусловной, как раньше, но вытесненной в игру. Первоначальная серьезность и всамделишность инобытия теперь входят в ее облик чередой притворств, нарочитых переиначиваний и развоплощений.

Первая настоящая игра — в прятки — началась у Оли в семь месяцев, еще до «ладушек», хотя вроде бы неизмеримо сложнее. Ведь «ладушки», хлопанье в ладоши — прямое подражание взрослым, а прятки, напротив, ускользание от них, противодействие их воле. Натянет на лицо какую-нибудь ткань — пеленку, платок — или просто отвернется, как будто ее не видно.

«Оленька! Где Оленька? Нету Оленьки!!!» — сплошное наше недоумение и вопрошание. И тогда, выждав, мигом сбросит завесу и покажет нам сияющее лицо. Мы изумлены и обрадованы: «Вот она! Вот наша Оленька! Нашлась наконец!»

Поразительно, что такой несмышленыш может проникнуть в тонкий смысл этой игры. Почему ей нравится исчезать и слушать, как мы ее ищем, как переживаем ее потерю? Когда она играет с Л., я стою с противоположной стороны и вижу, что, отвернувшись, она ничего не разглядывает, не отвлекается, зрачки застыли — ее в самом деле нет… Но всем трепетом ожидания она обращена туда, откуда отвернулась и откуда сейчас раздастся восклицание: «Где наша Оленька?!» Она уже сознательно заводит эту игру — мы только подыгрываем.

Но может быть, вся эта забава младенцу даже проще и понятнее, чем нам, — ведь тут разыгрывается опыт небытия и появления на свет. Единственное предварительное знание, какое нужно для этой игры, — знание бытия как такового в его отличии от небытия. «Меня нет» — «Я есмь»: это чередование и есть прятки. И поскольку самое волнующее для младенца — это опыт возникновения, то игра в отнятие и возвращение бытия становится первой и любимейшей.

Потом, к пяти-шести годам, эта игра приобретет иной смысл: хорошенько спрятаться, чтобы труднее было найти. Целью станет обмануть ищущего, незаметно прокрасться к месту, где он стоял, обойти его со спины: игра — на выигрыш. Но маленький прячется совсем не для того, чтобы скрыться, — он *хочет,* чтобы его обнаружили, нетерпеливо ждет этого и сам выглядывает или выбегает навстречу. Его победа — быть найденным. Как он сияет, вновь являя себя миру! Ни один герой не выглядит ослепительнее в день своего возвращения из дальнего похода. Да ведь и

возвращается младенец оттуда, куда не ступал самый неустрашимый полководец, самый неутомимый путешественник, — из инобытия.

Прятки — первая игра после рождения, потому что эта игра в само рождение. Потом начнутся игры подражания, перевоплощения: я — собачка, лисичка, дедушка, продавец, пожарный. Но это уже смена обличий внутри бытия, игра здешняя, обстоятельная, со множеством реалистических подробностей… А прятки — игра метафизическая, поскольку балансирует на грани существования и несуществования, света и тьмы. Тут не разное сближается, а противоположное, самое противоположное из всего: «есть» и «нет».

Быть может, в прятках низведена до детской забавы древняя мистерия умирающего и воскресающего бога… Но вернее предположить, что эта игра, столь естественная для детства, сама предшествует и задает смысл ритуалу. Когда ребенок прячется, то через игру он выдает тайну своего предсуществования, скрытую за видимым появлением плода ниоткуда. Прятки не только прячут, они самым наглядным образом обнаруживают спрятанное — бытие, затаившееся в небытии.

6

Потустороннее в Оле постепенно рассеивается, и она становится все более светским существом. Уже она ищет внимания к себе и охотно оказывает его другим. Любопытство мелькает в глазах, проблескивает через то полное мироприятие, перед которым раньше были равны все проявления мира, без разделения на интересное и неинтересное. Теперь стала разделять — и нуждаться в развлечении. Ей уже мало того, что само по себе открыто взору, — требуется такое, что нарочно дразнило бы и привлекало взор. Некий недостаток, неполнота обнаруживается в вещах — в них должно быть что-то еще, на что и нацелено ожидание. Уже не кроткое, почти аскетическое послушание сущему: где потрясут погремушкой, туда и зрачки устремляются, — но расположенность к чему-то необычайному, предпринятому нарочно для ее удовольствия.

Как-то вдруг она засмеялась — это было неожиданно и непроизвольно, как чиханье. Раньше я думал, что смех — продолжение и развитие улыбки, но теперь вижу, что разница не в степени, а в сущности. Улыбка — приятие того, что есть, приветливость к собеседнику, удовольствие от наличного; смех — увлеченность чем-то иным, невероятным, выходящим из границ, вплоть до невозможности владеть собой. Впервые это произошло, когда наша знакомая наклонилась над ней, стала притоптывать и «сердито» выговаривать: «Ты почему такая озорная? Почему папу не слушаешься? Вот я тебя сейчас!» — то приближаясь, то отстраняясь. Оля залилась смехом, бурлила, как речка, выходя из берегов. И впоследствии смех всегда возникал от ощущения нарочного, невсамделишного поведения — это была верная реакция на игру, на границу, отделяющую условность от действительности. Стоит начать что-нибудь усиленно повторять, задать четкий ритм — как тут же и Оля «заводится», сопровождая зрелище взрывами неудержимого смеха. Улыбка обращена к реальности, смех — к ее искажению, в нем звучит уже нечто ирреальное, инostороннее. Улыбка трезва, смех опьяняет.

И вот в Оле обнаружилась вдруг эта способность к «уходу» за границу реальности — хотя она сюда-то еще только-только пришла. Чуть обжилась — и вот уже порывается к иному, будто жизни как таковой, в длении и созерцании, ей уже недостаточно. Она ищет чего-то особенного, «интересного» — и сразу головку поворачивает, глазками нацеливается на любой неожиданный маневр: а не будет ли поживы и зрелища?

Эта устремленность вовне преображает ее даже внешне: будто

опять она вылупляется из какой-то очередной скорлупы и на свет появляется ребенок, перед которым уже чувствуешь ответственность — не просто перед ней стоять, а развлекать, чтобы ей было приятно и весело. И самому отцу это приятно, во мне пробуждается актер, со множеством масок, поз и возможностей перешагнуть унылые границы своего «я». Кто еще, кроме Оли, стал бы внимать моим сценическим образам и своей потребностью в зрелище питать мою потребность в перевоплощении? При этом мне открываются возможности, неведомые другим актерам перед закостеневшей в предрассудках публикой: я свободен от всяких театральных условностей, моя свобода равна лишь неискушенности моего единственного зрителя.

7

Но, видимо, я ошибался. Она уже знала меня. И ее готовность к зрелищу была ограничена изнутри — уважением к тем формам действительности, которые уже сложились и стали привычными для нее. Я же, по глупому взрослому обычаю доводить все до логического конца, представил младенца полной противоположностью себе и, чтобы угодить ему, стал вести себя вопреки тому, кто я есть.

Я развлекал Олю — пел, корчил рожицы, декламировал дурацкие стишки. За день, неделю, месяц в человеке скапливается столько невыговоренной чепухи, подсознательного бреда! Разве не наслаждение — исполнять какой-нибудь мюзикл собственного сочинения, кривляясь и завывая? И я радовался тому, что хоть с одним человеком могу чувствовать себя непринужденно, давая выход дикой фантазии.

И вдруг в разгар «мюзикла» какое-то новое выражение появилось в ее глазах, до того честно-внимательных к происходящему, — изумление, растерянность, отчужденность. И через мгновение я понял, что она вот-вот расплачется, что это бессмысленное выламывание она воспринимает как обиду, что и в ней, крошечной, есть достоинство и неприятие глупости. До сих пор в ее глазах существовал мой образ, изменчивый, но целостный, а тут он вдруг рассыпался. Тень «маленького человека» (уж куда меньше!) мелькнула передо мной — безгласного и бессильного в обиде. И я, конечно, сразу же прекратил свое безобразное представление — поняв раз и навсегда, что нет ничего живого на свете, перед чем позволено распуститься, потерять свой образ.

IX. Разлука

Придет время, когда ты сможешь обходиться без нас, и это будет торжество нашего воспитания. Но это будет и наше поражение, потому что мы сами готовим себя к одиночеству.

1

Олю увезли гулять: гляжу на ее смятую постельку и чувствую это утепленное место таким родным, как редко удается почувствовать. Каждая складочка, вмятинка — след доверчивого сна и резвого счастья: тут весь ее запах и плоть — но в каком-то уже успокоенном состоянии, годном для памяти и мечты.

Вообще, постель — самое откровенное место соприкосновения одушевленной плоти и неодушевленного вещества, тут проверяется что-то очень важное: степень запечатленности души в ткани, их дружества или враждебности.

На неубранную постель взрослого, смятые простыни, разбросанную одежду неприятно смотреть, как бы ни был внешне привлекателен сам человек. Через отпечаток на ткани — слежалый, мертвенный — обнаруживается залежалость самого тела, уже отставшего от души, омертвелого за годы жизни. В теле взрослого, даже самом гибком, изящном, души уже не хватает на одухотворение того, с чем оно соприкасается, на вещность, которая наружным слоем облекает человека и, словно чувствительная фотопленка, проверяет силу внутреннего его свечения. Отпавшее от души яснее всего выявляется отпечатком на брошенных одеждах и простынях. И чем более бурным было пребывание в постели, тем тягостнее впечатление: с материей сливались, но без души, и вот она, растерзанная, жалкая, покинутая… Дух взрослого сосредоточивается уже внутри, в невидимом, готовясь к исторжению из этой жизни. И потому постели взрослого приличествует строгая убранность и закрытость, та чистота, какую мы застаем в природе, приходя в нее, и должны оставить после себя.

У ребенка же в теле столько души, что она и вовне просится — и запечатлевает себя в смятых простынках, разбросанных игрушках, во всем кавардаке детской комнаты. В отсутствие самого виновника даже резче ощущаешь эту трогательную наполненность каждой вещи, которая сама источает некое духовное веяние. Кажется, что едва вошедшая в этот мир душа еще не определила ясно, где и в чем она должна воплотиться, и, стремительно созидая тело, разбрасывается в неистово посюсторонних своих порывах и на прочие, близлежащие вещи, вовлекая их все в тот же творческий круговорот.

И потому так жаль сломанных игрушек, идущих в мусорную корзину, и особенно — рубашечек и распашонок, тех, из которых Оля уже начинает вырастать. Это — самые первые, облекавшие ее с рождения и принявшие совсем еще смутную, ко всему льнущую

одухотворенность ее несложившегося тельца. Выбрасывать их — все равно что отрезать и хоронить кусочки родимой плоти. Это и в самом деле первое необратимое выпадение из ее жизни: раньше все только прибывало и полнилось, а теперь уже сам рост должен пойти за счет износа и отторжения — так будет и впредь.

Странно глядеть на эти раскинувшие рукава крошечные распашонки, которые унесут в никуда ее запах и тепло. У взрослых одежда умирает постепенно, носится до последнего, переходя из праздничной в каждодневную, дачную… ветшает, пока дух из нее не вылетит. А дети вырастают из одежды, пока она еще не успевает состариться, и кажется, что умирает она в младенческом возрасте от небрежения и покинутости: вдруг становится ненужной — и уже навсегда. Чем стремительнее жизнь, тем больше в ней невидимой смерти, того, что не может догнать, отстает от растущего тела и распростертыми пустыми рукавами скрывается в дальнем ящике, в долгой памяти…

2

Рядом с Олей я сильнее чувствую ностальгию по прошедшему — может быть, потому, что само время теперь проходит быстро, как никогда. Общее понятие детства расслоилось для меня на множество уходящих и безвозвратных детств. Вот мы теперь сажаем ее, семимесячную, за стол и кормим с ложечки, а не из бутылочки, как прежде, — и мне уже жаль, что мы лишаем ее очередного детства.

Ложечка в сравнении с бутылочкой — это лужица на месте высохшего моря: строго отмеренное, «карточное» довольствие, расчет вместо расточительства. И пища в ложечке — более сухая и твердая, как бы походная, непиршественная («сухой паек»). Сидячее положение, к которому приспособлено кормление с ложечки, и есть поход в сравнении с пиршественным покоем лежания и сосания из бутылки. Там питье само вливалось ребенку в рот; теперь, приподнявшись, вступив в единоборство с силой тяготения, он должен сам есть с ложечки — выхлебывать, вылизывать, прилагать свой труд на равных с дающей рукой. Ничто так не воспитывает в ребенке «умеренность и аккуратность», как переход от безудержного захлеба из бутылочки к дробному заглатыванью с ложечки.

Весь идеал человечества, как его изображают утопии (по-русски само это слово зовет утопиться), есть обратный переход: от ложечки к бутылочке, от редкости — к морю изобилия. Говорят еще «рог изобилия»: выдолбленный рог и есть натуральный прообраз бутылки с ее способностью изливаться долго и нацеленно — прямо в рот. Мы же вынуждены сами толкать ребенка к дозированному потреблению, как бы приноравливая его к скудости реального мира. С тех пор как у первого человека был отнят источник райского изобилия, так это и повторяется в судьбе каждого новорожденного.

Я, конечно, понимаю, что нужно приучать ребенка к ложке; но, когда вижу, с какой натугой и растратой глотается теперь то, что раньше с упоением сосалось, — хочется махнуть рукой на «воспитание» и не воспитывать, а просто питать младенца. Воспитание — такая же искусственная замена питания, как вос-создание — замена созданного, вос-соединение — замена единства: возмещение того, что первично утрачено и что нельзя до конца, безущербно восполнить.

3

Откуда же это началось — внедрение орудий в жизнь ребенка, чтобы образумить его и укротить? Конечно, не с ложки, а гораздо раньше — с соски. Вот модель всей нашей цивилизации, первое искусственное вторжение между природой и человеком, отсрочка нужд, ложное утешение.

Оля очень любит свою соску — это главная вещь в ее обиходе, символ орудийности как таковой в ее уже органической надобности телу. Все прочие вещи — вокруг, а эта — внутри, единственная, к которой у Оли *индивидуальное* отношение. Именно эту, толстенькую, пробкой набитую соску ей подавай — другие все чужие. Вчера затерялась где-то за диваном — так она целый час рыдала и не хотела засыпать, требуя ту, *родную.* А родная она, конечно, оттого, что замещает материнский сосок, без нее, как без матери, — пусто, одиноко.

Недаром, когда Оля лежит голенькая, соскау нее во рту напоминает пупок — две симметричные точки-затычки в центрах питания. Как пуповина, непосредственно от материнского живота проводившая пищу, завязана наглухо, так и соска — прекращенная связь рта с материнской грудью. Две стадии отлучения, два кляпчика — в животе и во рту, чтобы научилась сама собой обходиться, без прямого материнского питания.

Вот откуда вос-питание идет — с затычки, приучающей к одиночеству и молчанию. Мы и впрямь привыкли соской пользоваться как кляпом, для подавления любого протеста. Чуть закричит — от боли, страха, голода, — сразу рот затыкаем: соси и молчи. Все-таки первичное и отличительное свойство родителя: кормить, утолять, обогревать, нежить. А там, где он умеряет, сдерживает, укрощает, он выступает как сила общественного надзора, прокравшаяся в семью. Соска — уже орудие власти, «полезного» обмана.

Жалко мне ее обманывать, и ужасно трогает ее нежное, с придыханием, почмокиванье, когда она, растревожась от чего-то во сне, начинает поспешно втягивать соску, утешаясь мнимо близким присутствием матери. А сколько раз на дню я сам ее урезониваю — все той же резиновой подделкой. Гляжу я на эти затычки во рту и животике, сработанные человеком и природой, с чувством какой-то смутной вины: ловко же мы отделались от тебя!

4

Вот мы воспитываем тебя, то есть делаем все возможное, чтобы ты научилась обходиться без нас. Мама отлучает тебя от груди. Папа приучает тебя есть ложкой. Что ж, придет такое время, когда ты сможешь обходиться без нас, и это будет торжество нашего воспитания. Но это будет и наше поражение, потому что мы сами готовим себя к одиночеству. Мы уходим из комнаты, не отвечая на твой плач, закрываем дверь — так ведь и нам придется плакать, когда ты не позовешь. Всеми этими маленькими и большими затычками мы постепенно закупориваем собственное существование, отделяем тебя от себя, и чем больше ты будешь *сама,* тем больше мы будем *одни.*

5

Едва мы начали кормить Олю с ложки, как чуть ли не на следующий день прорезался первый зуб — словно сама природа поспешила навстречу воспитанию. Преграда — на преграду. Стали ложечкой дробить сухую пищу — и вот из десны вылез крохотный резец, предназначенный для того же самого дробления. Мы даже пропустили этот миг — только услышали, как что-то звякнуло о ложечку во время кормления. Так подобное встретилось с подобным, металлическое порождение культуры — с костяным образованием природы, оба созданные для того, чтобы расчленять прежде нечленимое. До смешного крохотное подтверждение тютчевского:

Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества…
Скажи заветное он слово —
И миром новым естество
Всегда откликнуться готово
На голос родственный его[18].

Раньше, сетуя на придуманность ложки, я забыл, что у зубов сходная цель: грызть и дробить. Разумный гений человека здесь опять-таки не попрал, а совпал с творящей силой естества, взаимным откликом которых послужил металлически-костяной стук ложки о зуб.

6

Прорезанная зубом десна у Оли несколько дней припухала, вынашивая твердый свой плод, — тоже роды, только запоздалые, потому что рождается высшей плотности вещество, плотнее всей предыдущей плоти. Оля страдала, ночами вскрикивала, и теперь ей предстоит болезненная пора, как прежде с газами. Там пустоты ей были мучительны, здесь — уплотнения, но обе эти главные боли младенчества почему-то связаны с пищеварительной системой (выделением и поглощением), а не, скажем, с кровеносной или дыхательной.

Пищеварение — превращение чужой плоти в свою — акт в некотором роде *этический,* способ отношения к другому. Кровь замкнуто циркулирует внутри организма, это среда *психологическая.* Дыхание соотносит нас не с другими и не с собой, а со всеобщим, с небом и воздухом — это уже процесс *религиозный.* Пищеварение же глубже и безысходнее всего погрязло в плотском, в том прахе, из которого берет начало телесная жизнь, утверждающая себя ценой чужой смерти.

Мораль в том, что сначала нужно на себе пережить эту муку, чтобы потом уже навсегда быть бережнее к другому и знать, каково попасть на зубок. Прорезываясь, зубы грызут и пронзают свою же плоть, и это пример субъектно-объектного превращения: попробуй на себе, прежде чем на другом. Такой осязательный урок гениальная природа преподносит в самом младенчестве, запечатлевая со всей безотчетностью инстинкта. Не в этой ли поучительной боли — начало физиологической нравственности, когда оружие, нам врученное, поражает прежде всего нас самих?

7

Дело не в том, что правильнее: упорствовать в воспитании или довериться естеству? Главное — вдвойне ускоренный ход времени, уводящий тебя от меня: и по законам природы, и по канонам педагогики. Ты растешь — и тебя растят. Воспитание естественно, естество воспитует — рано или поздно, одно подтверждает правоту другого. Когда ложечка невзначай стукнулась о зуб, раздался неожиданно костяной звук — будто передо мной новое существо, уже не такое детское, как прежде. Все милое, родное, с чем ты родилась, уходит в прошлое, и уже никогда не вернуть той баснословной поры, когда ты, еще беззубая, мягкими деснами кусала и мусолила мой палец; когда даже твой укус был нежен и влажен, как поцелуй.

Я думал, что ностальгия — чувство позднее, тоска по давно прошедшим временам; а оказалось — и по шестимесячному ребенку тоскуешь, когда он превращается в семимесячного. Это ностальгия, забегающая вперед, — по родному, уходящему в будущее. Чем быстрее перемены, тем сильнее напрягается душа, чтобы удержать уходящее.

Все приходящее относительно, ибо пройдет; все проходящее абсолютно, ибо не вернется; и потому счет времени вернее всего вести по потерям. Когда перемен немного, они радуют, как открытость будущего; когда много, уже печалят, как необратимость утрат.

Мое дело — копить потери, собирать то, что остается от тебя, мимолетные следы твоего стремительного существования. Как только в тебе появляется новое, я вдруг спохватываюсь, замечая исчезновение чего-то знакомого и родного. Я вспоминаю тебя месячную и двухмесячную, еще совсем смятенную, слепо отдающуюся своим порывам, ужасно искреннюю и беспомощную, и тоскую от невозможности вернуть те дни, когда я возил тебя по осенней дачной улице и ты успокаивалась, замирала, глядя на верхушки деревьев, на бесконечное небо.

8

Тогда мы меньше общались с тобой, но чаще чувствовали свою нераздельность. Была некая бесконечная сфера жизни, куда легко вмещались мы оба. Когда вдвоем глядишь на деревья или облака, трудно разминуться взглядом и чувством: одно и то же наполняло меня и тебя — так оно было огромно. Теперь твои желания почти столь же определенны, как мои, и на этих путях нам легко разминуться.

Вот ты протягиваешь руки, выгибаешь спину, как бы умоляя взять на руки, — и я понимаю: ты соскучилась, тебе хочется быть со мной. Я поднимаю тебя, пытаюсь поцеловать, но ты небрежно отворачиваешься в сторону и даже плечом закрываешь шею от надоедливой нежности. Оказывается, вовсе не ко мне ты хотела, а подобраться к далекому предмету, чтобы разглядывать с высоты моего плеча какой-то пыльный угол шкафа или бронзовый завиток люстры. Ни положить тебя обратно — смертельная обида и негодующий рев; ни расположить к себе, поговорить, поцокать языком, пощекотать, сделать козу рогатую — для этих милых шалостей ты сейчас почему-то закрыта… И вот мне остается только долго держать тебя на руках, пока ты занята чем-то другим. Именно потому что ты сейчас рядом, но не со мной, я чувствую себя особенно покинутым.

И мне начинает казаться, что так будет всегда: только как опоре мне будет суждено служить тебе, касаться тебя.

9

Но сколько раз — и насколько чаще — бывало наоборот!

Ты научилась самостоятельно передвигаться по полу — помню, как я был удивлен, когда из-за двери впервые высунулась твоя рука — так неожиданно, будто прошла сквозь стену. С тех пор ты стала усердно ползать за нами по всей квартире: куда бы мы ни шли, через несколько минут ты уже у наших ног, вскидываешь головку и смеешься. И мне совестно этого воодушевления: мы ходим легко, не замечая своих шагов, а ты так старательно пыхтишь, изо всех сил поспевая за нами и боясь отстать.

Теперь, когда ты стала догонять нас, я впервые заметил, как часто мы тебя покидаем. Пока ты не умела ползать, мы не знали твоего постоянного желания быть с нами и, уходя, спокойно оставляли одну, не подозревая, что душа твоя рвется вслед, как сейчас устремляешься за нами ты сама.

Да и теперь наша занятость позорно не соответствует той радости, с какой ты подползаешь к нам: мы бываем застигнуты врасплох, за каким-то кухонным делом, телефонным разговором, и даже не оборачиваемся на твои призывные междометия, не нагибаемся в ответ на твои прикосновения, тогда как тебе нужны только мы. Кажется, ты научилась нас догонять лишь для того, чтобы твердо усвоить: мы все равно тебе не принадлежим, даже когда ты рядом с нами.

Конечно, нельзя ничего изменить: ведь надо же готовить еду и заниматься тысячью других дел. А тебя тянет рассматривать ничем для нас не примечательные ножки стульев и завитушки обоев, основательно знакомясь с мелкой наличностью мира. Но отчего-то душа моя болит, чувствуя вблизи твою душу и не умея соединиться с ней.

Мне бы хотелось только глядеть тебе в глаза, но я знаю, что в нашей жизни нельзя этого делать долго: можно наскучить или самому соскучиться, начать глупо усмехаться, корчить рожицы. Однажды я смотрел тебе в глаза, совсем не детские, вечные, как душа, и вдруг маленькая ручонка дернула меня за бороду. Сквозь один твой облик проступил другой, как два изображения, наложившиеся на одной фотографии. Твоим ручкам — семь месяцев, а глазам — вечность, и эта разница обрекает нас на разлуку. Я знаю, что в бесконечности, откуда ты недавно пришла, души могут вообще не разлучаться, и оттого мне так больно быть рядом с тобой — несоединенным: слишком близка граница, которую не перешагнуть.

Наверно, потом эта близость начнет забываться, а с ней исчезнет и терзающее чувство ежеминутной разлуки. Когда-нибудь нам будет достаточно знать, что хотя мы и врозь, но существуем в одном мире, можем встречаться и говорить, — сама по себе милость немалая.

10

Как ни странно, но к опыту реальной, не метафизической разлуки мы оказались гораздо менее чувствительны, чем Оля.

Впервые мы надолго — почти на целые сутки — покинули ее накануне Нового года, праздновать который отправились к друзьям. Родители по телефону сообщали нам, что Оленька бодра, весела и ничуть не встревожена нашим отсутствием, даже не замечает его. Зная ее привязанность к дедушке и бабушке, мы не сомневались, что они с успехом заменяют нас, и спокойно вливались в общее веселье.

Но когда на другой день, соскучившись, мы бросились к ней, то вместо ответной радости она обдала нас холодом. Лицо ее напряглось, узнавая нас и в то же время отвергая как незнакомых, она нахмурилась, отвернулась и чуть не заплакала, вся в каком-то непонятном смятении.

Эта борьба в ней продолжалась час или два — то она тянулась к нам, то вновь замыкалась и настораживалась, пока всевозможными ухищрениями нам не удалось вернуть былое расположение. Что же произошло? Для нас это был внешний факт расставания, никак не изменивший наших чувств: ведь мы помнили о ней, любили ее. Она же это наше продолжительное отсутствие во времени восприняла как измену. Ползая у наших ног, она ничуть не обижается на наше невнимание, потому что мы рядом — и для нее это достаточное подтверждение нашей человеческой надежности. А физически покинуть — значит предать. Здесь еще нет нашего двоемыслия, позволяющего сообщать реальным фактам прямо противоположный смысл. Дескать, в разлуке мы сохраняем внутреннюю близость, а в непосредственной близости можно быть духовно чужими. Нет, для младенческого, как и для мифического сознания, явление — это и есть сама сущность.

И тогда понятно, почему она так долго не замечала нашего отсутствия. Разве можно видеть то, чего нет? Наше исчезновение обнаружилось не само по себе, а в миг нашего появления, как внезапно замеченная пропажа. Взрослых во встрече радует обретение прошлого, которое для них в разлуке вроде бы не менялось, просто отодвигалось и застывало в памяти. Детей во встрече, напротив, пугает утрата прошлого: они впервые переживают разлуку в миг ее окончания, когда всплывают перед ними забытые лица и поражают внезапной чуждостью.

Знакомая нам рассказывала, что три месяца лежала в больнице — и все это время дочка не вспоминала о ней; но, когда

мать вернулась домой, девочка рыдала два дня. Вся тоска, равномерно давящая на взрослую память во время разлуки, обрушивается на короткую детскую внезапно, в первый момент встречи. И не нужно утешаться тем, что нашего отсутствия не замечают, — именно поэтому оно откроется тогда, когда его уже нечем будет возместить: сама встреча его запоздало обнаружит. Память — плохая замена любви.

X. Дедушки и бабушки

Разница в возрасте нас с дедушкой не разделяла, а сплачивала — минуя родителей. Вместе мы коротали долгое, сладко-тягучее время детства и старости…

1

Сначала дети больше нуждаются в родителях, привязаны к ним потребностью каждой минуты — а потом, когда освобождаются от этой зависимости, родители зависят от них все сильнее. Маленькие дети хотят постоянно быть с родителями, у которых — свои дела. Старенькие родители хотят быть с детьми, у которых тоже свои дела. Между родителями и детьми — взаимная любовь, расщепленная во времени на две невзаимности, на две эпохи: когда дети остаются, а родители их оставляют — и когда остаются родители, а оставляют их дети.

Но симметрия эта чудесным образом восстанавливается в отношении внуков и дедушек-бабушек. Те и другие — остаются и хотят быть друг с другом. Между внуками и их прародителями — такая же равновозрастная гармония, как между молодыми влюбленными. Ведь возраст — это, в сущности, срок, отделяющий от небытия, и между одним годом и восьмью десятками нет большой разницы.

Достаточно только побыть несколько минут при встрече внуков с бабушками и дедушками, при их играх и развлечениях, чтобы почувствовать, какая возможна на свете безмятежная радость. Идиллия вступает в свои права — ничего не опошляя и не упрощая, ибо есть возрасты и отношения, достойные идиллии, — не все же нам гореть и бороться, презирая покой. Это людям в физическом расцвете и возмужании нужна борьба, чтобы хоть что-то в них дрогнуло, отозвалось, куда-то устремилось. Когда же само время постепенно уводит их из этой жизни, опрозрачнивает, делает хрупкими, тогда прекрасен именно покой, обретаемый в этом неумолимом уходе. Это ведь счастье не где-нибудь, а на границе с небытием. Эти идиллии *начала и конца не* менее крылаты и вдохновенны, чем трагедии середины жизни.

Я очень люблю, когда к нам приходят родители или мы отправляемся к ним в гости, — последнее даже лучше, потому что там Оля встречается со своей прабабушкой Ольгой Степановной. Так сильно их взаимное притяжение и поглощенность, что я чувствую себя лишним — как будто очутился в доме молодоженов, которые заняты только собой, а мне остается не мешать им. Слоняюсь по комнатам, читаю вполинтереса старые книги и новые газеты. И Оля в такие часы почти что равнодушна ко мне, едва замечает и не отзывается. За то, что я бываю к ней строже, чем дедушка и бабушки, мне здесь воздается сполна.

Но хотя на меня никто не обращает внимания, я люблю здесь бывать: через меня протекает счастье рода, замкнувшегося своими

началами и концами. Как *середина,* я пуст и незначащ, мне остается лишь участь промежуточного звена, без которого не могла бы состояться встреча. Но нигде Олю не любят так, как здесь, и нигде я так не оправдан самим существованием своим — ведь ее бы не было без меня. В этом доме, бродя без дела, я блаженнее, чем где-либо, — и никто не дает этого почувствовать с такой силой, как бабушки и дедушки. Другие люди от меня чего-то ждут, я могу не успеть, не выполнить, не достичь — но здесь я уже достиг всего, чего мог: жизни новой и совершенной, не дающей нам всем умереть.

2

К моей маме у Оли особое, более горячее отношение, чем к нам. Стоит маме показаться в дверях, и дитя сразу дышит учащенно и ножками-ручками бурно размахивает. Или вот сейчас: онауже стала похныкивать, я ее одевал ко сну — но мама вошла и присела на краешек дивана, и Оля сразу успокоилась, ухватилась за ее руку и смотрит в глаза так нежно, доверчиво, даже смеется своими тихими горловыми воркованиями. А ведь мы с Олей гораздо больше проводим времени — но такого явного предпочтения нам, как маме, она не оказывает. Мама для нее — личность, а мы — просто взрослые люди, и она, что со мной, что с Л., одинаково себя держит: то больше расположена к одному, то к другому, но без резкой разницы.

И вот сегодня, когда она из нервно-предсонного своего состояния так вдруг развеселилась, прильнула к маме, чуть ли не гладить ее стала, — я точно почувствовал, что в маме она узнает человека своего мира. В чем-то неуловимом — в морщинах, в улыбке, в тембре голоса, во всем облике пожилой женщины — ей чудится что-то свое, более родное, чем в нас. И мама тоже это чувствует, но нам не говорит и вряд ли сама понимает, что в этой нежности есть что-то «не от мира сего»: такая безмятежность, глаза в глаза, рука в руке, невнятное лопотание, пуговиц бессмысленное перебирание, — что-то такое, отчего за маму ужасно грустно. Оля едва-едва оттуда — а в маме она признает *свою,* глядит *узнавая,* улыбается какой-то *вспоминающей* улыбкой, смеется *приглашающим* смехом… Мы-то столько изощряемся, чтобы этот хрустальный смешок из ее горлышка вызвать — и гримаски строим, и чмокаем, и буйствуем, и все равно смеется она с нами редко; а маме — сразу, первая, не отзываясь, а призывая. И в этом их согласии что-то пронзительное звучит: «Скоро! скоро!» Пожалей, Господи!

3

Помню, что такого родственного чувства, как к дедушке, я в своем детстве к родителям не испытывал. Они приходили издалека, со своими делами и заботами, с еще не прожитой и влекущей их от меня жизнью. Теперь-то я понимаю, что не было более преданных дому и сыну родителей, чем мои, — но все-таки у них было что-то еще: работа, сослуживцы, отношения между собой, а у дедушки — только я. Разница в возрасте нас не разделяла, а сплачивала — минуя родителей; за их спиной мы как будто обменивались всепонимающими взглядами. И вместе мы коротали то долгое, сладко-тягучее время детства и старости, внутри которого им, с их постоянной спешкой и наставлениями, не было места.

Куда нам было спешить, когда в летний ласковый день мы гуляли, взявшись за руки, по солнышку, в который раз осматривая все тот же повалившийся забор и ржавую бочку? Или когда в скучный зимний день мы растапливали печь, подбрасывая по щепочке, чтобы долго следить за огнем и не оставаться без дела; рассматривали в лупу какие-то картинки, которые прекрасно были видны и без нее; резали на мелкие лоскутки старую одежду и усыпали ими и разноцветными блестками вату между двойных рам, чтобы веселее было смотреть в окно? Наша жизнь, не спеша ни к какой цели, наполнялась смыслом сама по себе — высшее благо для тех, кто только начинает или уже заканчивает жить. Мы помогали друг другу почувствовать всю щемящую прелесть ничем не обремененного существования, удерживали друг друга от той торопливости, которой в одиночку труднее было бы противостоять.

Особенно запомнился мне тот день, когда дедушка привел меня в квартиру, которую снимал неподалеку от нашего дома. Он подрабатывал тогда склеиванием коробочек для лекарств, стол у него был постоянно завален картонками, и вот он снял себе уголок, чтобы не загромождать нашего и без того тесного жилья. Волшебство этого пребывания в чужой квартире состояло в том, что полновластным хозяином в ней был дедушка, а я был его любимым и единственным внуком. Царственнее не бывает царя, чем тот, чей дедушка — главный в мире. Конечно, я не мог здесь хозяйничать, переставлять, ломать, уносить вещи, но мне это и не было нужно — достаточно бесцеремонных отношений с вещами в собственном доме. В чужой квартире все было окутано дымкой и тайной, и я впервые, быть может, ощутил счастье целомудренного отношения к предметам, когда они вполне достижимы, но

неприкасаемы. Это как любовь, которая «не берет» не из страха, а из любви, то есть из желания сохранить все, как оно есть. Такой свободы — в противоположность вседозволенности, такого владычества — при нежелании распоряжаться, такого согласия с природой вещей, их доступностью-таинственностью я не ощущал никогда и нигде так, как в этой снятой квартире.

Мы с родителями тогда жили не у себя, на Таганке, а у дедушки, в Измайлове, чтобы родители могли вечерами заботиться о нем, а днем — он обо мне. Все это кочевье было оттого, что я был еще мал, только вселялся в мир, а дедушка — уже стар, готовился к выселению, и все это удваивалось и знаменовалось смещением наших жилищ, что обостряло ощущение мира как съемного, сданного на время, причем от старшего — младшим. Мы жили у дедушки, а дедушка — у кого-то, неизвестного мне, но казавшегося еще более старым, передавшим ему на хранение свое имущество, как дедушка передал его нам. В принадлежавшей нам комнате, где мы жили, все было новое, покупное, без прошлого. У дедушки были старинные вещи: скрипка, столик из стекла и красного дерева, люстра из бронзы и фарфора, картина прошлого века с венецианской гондолой, — они внушали почтение, осторожность, чувство истории, замкнувшейся в молчании. А на той квартире, которую снимал дедушка, вещи были еще более ветхие, чем у него, бедные и потертые до призрачности, отчего я, наверно, и заключил, что эта квартира принадлежит кому-то еще более древнему, чем мой дедушка, — настолько уже невидимому, что остается только беречь все оставленное им.

Будь я взрослее, я бы подумал о том, какое духовное благо — снимать: не распоряжаться по-хозяйски и не ютиться гостем, а входить с домом в ту полусвободную-полуобязывающую связь, которая соответствует преходящему сроку человека на земле. Мы не видим хозяина этого мира — входим в оставленное для нас, заботливо приготовленное жилище с правом пользоваться им, пока не истечет срок нашей жизни. Мы не можем ничего присвоить и унести с собой, ничего изменить в расположении и устройстве, кроме мелких переделок, которые, в свою очередь, будут переделываться теми, кто придет после нас. Мы пользуемся тем, что хозяин оставил нам, но каждая вещь сохраняет в себе что-то неведомое, известное лишь ему. И мы рады не обременять себя лишним знанием о том, что предшествовало нашему появлению в жилище, и ответственностью за то, что будет потом. В каждой вещи есть тайна — мы не можем ни разгадать ее до конца, ни сотворить из ничего, а только передать потомкам, стараясь постичь эту тайну — и сберегая непостижимое. То, что я

ощутил в этой снятой квартире: притягательность незнакомых вещей и их строгая отстраненность, безграничность познания — в границах непознаваемости, безграничность освоения — в границах неприсвоения, — все это было предчувствием и угадкой, чем для человека является мир вообще.

4

Мне тогда уже думалось, что когда дедушка умрет, то почти вся моя жизнь будет в память о нем: я назову его именем — Самуил — своего сына, я буду вспоминать о нем ежечасно. Не так это вышло, и даже день его смерти, 13 марта (1884–1961), порой проходит в забвении. Горы тающего снега на кладбище и не протоптаны дорожки между оград — вот отчего мне приходится навещать его в дни других смертей. Потусторонняя мгла, в которой рассеялась его душа, представляется мне похожей на небо над его могилой: все в кружевных петельках от бесчисленных ветвей — шрамов и отметин земного опыта.

Но ощущение горячего дедушкиного присутствия, невидимо охраняющего меня, остается во мне прочнее, чем родительского. Ведь отца и мать мы знаем и тогда, когда вырастаем, — уже как отдельных людей со своими недостатками, привычками, особым складом характера; в их образах уже стерлась память детства, вытесненная более поздними и сознательными впечатлениями. Дедушка же остается всемогущим и всеблагим богом младенчества, когда еще магически воспринимаешь мир, не развенчивая знанием его таинственную одухотворенность.

Не случайно Саваоф представляется наивно верующим как седобородый старец: они, как дети, нуждаются в опеке и покровительстве непостижимо превосходящего опыта. Христос впервые почувствовал Бога как отца. С христианства, установившего более близкое отношение с Богом, и началось всестороннее, логически и научно оснащенное богопознание, которое проложило путь и научному же богоборчеству — скептическому знанию, каким повзрослевший сын снимает ореол таинственности и всемогущества с отца. В иудействе же отношение с Богом мыслится более опосредованно: Он сотворил Адама, значит, был отцом первого человека, а в отношении последующих поколений выступал как прапрапра…дедушка. Иудей не мог повзрослеть настолько, чтобы разгадывать тайну Отца — Бог был «дедушкой», оставался Богом вечного младенчества. Это представление о себе как о самом младшем в ряду праотцев от самого Адама не покидало иудея.

Из христианского ощущения одновременности, сосуществования человека с Богом проистекает и небывалая прежде «взрослая» самостоятельность человека — и возможность дальше приближать и «омолаживать» Творца, отождествляя Его уже не с Отцом, а с самим собой, что осуществляется в гуманизме и атеизме. И как важно именно теперь всем человечеством

восстановить то чувство благоговения, которое внук испытывает к деду вследствие абсолютной несоизмеримости их опыта. Ведь дед был посвящен в начальную тайну вещей задолго до моего рождения, он создал по своему образу моего отца. Самое удивительное, что хотя при этом умаляется право «вечного внука» на взрослую самостоятельность, но ничуть не умаляется, а неизмеримо возрастает его право на самого Бога, его внимание, любовь, попечение. У кого больше прав на поблажку и обожание, чем у внука?

Представая в дедушкином облике, божественное отодвигается от меня за грань знаемого и мыслимого, хотя остается самым близким по ощущению ласки, тепла. Когда дедушка был жив, я по малолетству преувеличивал его могущество и всеведение; когда же я стал взрослеть, он умер, так и оставшись навсегда за той чертой, куда скрывается священное. Никогда не являлся мне дедушка в скучном, обыденном свете полудня — только в красках рассвета и в тенях сумерек, в ту пору, про которую сложена поговорка: «Заря с зарей целуются».

5

Перед дедушкой я не испытываю никакой вины: мы дали друг другу все то короткое счастье, на какое были способны. Но вот перед родителями чем дальше, тем больше я чувствую себя виновным, особенно после рождения Оли, от которой, боюсь, надвигается возмездие. «Юность — это возмездие» (Ибсен) — только сейчас я начинаю это понимать. Для юности с ее прорастающей субъективностью мы вдруг оказываемся объектами тех самых действий, которые совершали в своей юности по отношению к родителям. На юности, как на оси, поворачивается колесо жизни, превращая обвинителей в обвиняемых. Обычно родители судят своих детей, но с юности дети сами становятся судьями своих родителей. Нежный возраст обретает твердость и блеск карающего металла.

Но моя вина перед родителями глубже: я их не судил — я просто не думал о них, с той самой поры, как начал думать. В переживаниях моих они занимали последнее место — после мальчиков и девочек, с которыми я учился, после книг, которые я читал. В конце концов, родители жили для меня, и, думая лишь о себе, я как бы послушно исполнял их волю. Я не замечал их так же, как не замечают собственного тела, когда оно не болит. Лишь когда отец умер, во мне что-то больно шевельнулось, и я начал часто думать о нем. Но с мамой я обычно говорю не вникая, как с отголоском своего подсознания: не слыша, пропуская мимо ушей. «Что, что ты сказала?» — прошу повторить и все-таки опять не слышу отключаюсь, думаю о другом.

Я не плохо относился к родителям, но автоматически, подчиняясь природному инстинкту, как ешь, пьешь, ходишь… И это самое ужасное: для родителей ты центр жизни, а они для тебя только фон. И родителям, и детям всего труднее понять, что те и другие — личности, столь же не похожие друг на друга, как чужие люди, хотя по крови и самые близкие. Легко нам было с дедушкой любить друг друга, сходясь в интересах столь же широких и неопределенных, как сама жизнь: разноцветные лоскутки, коробочки, прогулки, природа… Ас родителями дорастаешь уже до вполне определенных, личных требований друг к другу, хотя в отличие от возлюбленных родителей и не выбирают.

Здесь как бы двойной закон любви должен исполниться. Муж и жена любят друг друга как личности, по взаимному выбору. Внуки-внучки и дедушки-бабушки еще не успевают соприкоснуться своими личностями, они встречаются по воле

природы, как существа родовые. Оба вида любви естественны, гармоничны, в них возможны полное слияние и отдача. Но между родителями и детьми сфера отношений расколота: тут личности успевают за время земного пути выявиться настолько, что чем дальше, тем больше расходятся, хотя и связаны кровной заботой и общностью душевно-физической жизни.

Вот отчего так трудно достижима здесь гармония: она, по сути, наивысшая, сочетающая личное и родовое. Внуки и дедушки-бабушки почти всегда любят друг друга. Часто встречаются и счастливые супружеские союзы. Труднее всего найти духовно наполненные отношения взрослых детей с родителями, сблизиться с ними в том, что выходит за пределы кровно-бытового. Для этого нужно войти в свою семью заново как свободная личность, совместно с близкими искать веру и смысл жизни. Тогда любовь отцов и детей растет не только на почве родственности, но и не в отрыве от нее, а в слиянии родства и свободы. Мало в этой любви удач, потому что и задача не по силам высока: «низшую жизнь» поднять до личного выбора, духовно подтвердить смысл собственного рождения.

По сути, ведь и путь ко всеобщей любви таков: природное единство человеческого рода превратить в умственный и сердечный союз личностей. Но как этого достичь, пока мы с родной кровью на чужом языке говорим и собственных родителей воспринимаем машинально, как будто они всего лишь послушные орудия природы, нас произведшие?

Подумай, в силах ли ты что-либо изменить в своем отношении к матери, — и тогда станет ясно, чего ты в праве ждать от дочери. Ведь прав у нас не больше, чем сил.

XI. Познание

На примере Оли сейчас ясно видно, насколько «брать», «знать» и «любить» первоначально неразделимы. Как познание — присвоение глазами, так наслаждение — дальнейшее познание…

1

Не слишком ли далеко я возвращаюсь в свое прошлое и забегаю в ее будущее, в те времена, когда мы были или будем врозь? А ведь главное то, что мы сейчас вместе: встретились, пересеклись из непостижимых далей. Мне бы внимательнее вглядываться в то, что есть, вбирать этот цельный опыт, укрепляясь им для будущего, а не омрачать своими предчувствиями настоящее. «Что имеем, не храним, потерявши — плачем» — это хоть и грустный ход событий, но все-таки естественный. А я взялся плакать о том, что имею, — верный способ все потерять, причем по собственной вине.

В Оле еще слито сейчас то, что потом начнет раздваиваться: познание и любовь, «я» и «другие»… И не в этом ли моя задача: сберегать Олино в себе — для нее же, до той поры, как понадобится ей все отнятое и растраченное временем. Стать копилкой-зеркалом, чтобы отсвет, когда-то ею на меня брошенный, через годы ответным бликом на ней заиграл.

2

На примере Оли сейчас ясно видно, насколько «брать», «знать» и «любить» первоначально неразделимы. Вертит в руках незнакомую вещицу, внимательно разглядывает ее, пробует на вкус — и наконец, возымев доверие и желание, запихивает в рот, укладывает на мягкое ложе языка, чтобы насладиться ею сполна. Как познание — присвоение глазами, так и наслаждение — дальнейшее познание, только уже глубинами плоти.

У взрослых эта общность удержалась только в словесном обозначении: взять = познать = любить щину. У ребенка же один непрерывный ход втягивания и освоения. Все то, что впоследствии разделится на утилитарную деятельность, теоретическое созерцание и эротическое наслаждение, — здесь также преемственно, как рука, берущая вещь, глаз, ее разглядывающий, и рот, ее смакующий. В прямом и обратном порядке это повторяется десятки раз на дню. Вот и сейчас: подползла к моей пишущей машинке, поставленной на диван, постучала по клавишам, прильнула ртом к округло-ребристым формочкам, упиваясь гладкой вогнутостью, ласкающей язык…

Причем, вынимая вещь изо рта, чтобы вновь поднести ее к глазам, она и смотрит на нее как-то уже по-новому, с вкрадчивым любопытством, словно проверяя сладострастное ощущение от нее. Изведанная в сокровенной близи, во влажной неге — какова она теперь на взгляд и на ощупь?

И так, чередуя познание рукой, взглядом и языком, ребенок испытывает вещь во всех ее свойствах. И пусть не противопоставляют одно другому — теорию и практику, эрос и гносеологию, бескорыстное познание и вещественное присвоение и т. п. Это от природы разные грани одного постижения: взять — осмотреть — вкусить…

3

Но дальше черед — проглотить. Путь желания — от хватающей руки, через глаз и язык — ведет дальше, в пищевод и желудок.

Сколько раз и с какими вещами — листиками, бумажками, допускаю, что и камешками, — Оля довела свои любовные отношения до естественного предела, мы не знаем, и слава Богу: так спасаемся мы в родительское неведение, не дожив еще до ее года. А сколько настоящих тайн нам еще предстоит почувствовать и не узнать, устанавливая для себя черту запрета, добровольно обходя те опасные места, где воля ребенка упирается сама в себя или возлагается на Бога.

Нельзя родителям все знать в детях, как и детям — в родителях: первое знание присваивает родителям то божественное, чего в них нет, а второе — отнимает то божественное, что в них есть. Пусть родительское и детское сохраняют взаимную несводимость, внутри которой и возникает заповедное — неотчуждаемое и неприсвояемое. Нельзя до конца обнажать свой исток — это говорит еще притча о Хаме, пожелавшем увидеть срам своего отца Ноя. Но нельзя и исход свой обнажать, тайну своего дитяти.

4

Итак, выясняется условность еще одной грани: между вкушением-любовью и глотанием-умерщвлением. То, что вкусно, хочется вкусить до конца. И тогда гибель предстает как завершение все того же перехода вещей снаружи внутрь, как пик познания и наслаждения. В сказках для самых маленьких смерть, как правило, происходит от съедения, что размывает разницу между убийством и обжорством.

Вот я читаю Оле «Красную Шапочку». Конечно, она по малости своей еще не понимает, но и я не понимаю — в каком-то более глубоком смысле. Страшно ли должно быть ребенку оттого, что волк съел Красную Шапочку? Заслуживает ли наказания этот жестокий зверь, проглотивший к тому же семерых козлят и множество невинных ягнят и зайчат в разных сказках и баснях? В детском восприятии я нахожу волка более привлекательным, чем во взрослом. Слово «есть» не означает ничего ужасного, ведь и ребенок поглощает многие кушанья с большой охотой, да и некушанья тоже. Может быть, прожорливость волка — это не жестокость, а, наоборот, любвеобилие? Говорим же мы Оле в порывах нежности: «Сейчас я тебя съем» — и делаем вид, что откусываем понемножку. Оле ужасно нравится: нарочно подставляет нам попку и прочие части и терпеливо ждет, когда мы исполним свою угрозу.

У младенца еще жива память о материнской утробе, и он вовсе не возражает быть съеденным, чтобы вернуться обратно. Сказки настойчиво отбивают у него эту охоту: нет, не любящая мать, а грубый волк проглотит тебя, попадешь в неродную жестокую утробу! Неслучайно поедаются в сказках именно дети: козлята, Красная Шапочка, Танечка и Ванечка, — с которыми маленькие слушатели легко могут отождествить себя. Закономерно и то, что волк обманом (тонким голосом, чепцом и очками) подменяет собой добрую мать или мать матери — бабушку: он тоже — чрево, но не рождающее, а заглатывающее, такое, которого нужно страшиться. Сказки словно уговаривают ребенка: хорошо быть рожденным на белый свет, плохо — провалиться обратно, в тьму, в преисподнюю. И когда дети по своему неразумию и доверчивости все-таки попадают волку в брюхо, то по воле сказки это брюхо лопается от огня или топора, и дети невредимыми выходят наружу — рождаются заново[19].

5

Интересная метаморфоза волка — Крокодил у Корнея Чуковского, любимый его персонаж, переходящий из сказки в сказку. Главное в крокодильем облике — огромная зубастая пасть, ненасытно поглощающая великое разнообразие живых существ и предметов, вплоть до резиновых галош; он — чемпион глотания, и в этом смысле не может не вызывать восхищения у детей. Пожирательной способностью Крокодил превосходит волка — но при этом утроба у него совсем не злая, способная не только глотать, но и изрыгать проглоченное. В отличие от любящей материнской утробы и гибельной волчьей, крокодилья имеет как бы воспитующее значение: она погружает во тьму и затем заново исторгает на свет — чтобы проучить, наказать, временным злом восстановить справедливость и наставить к добру. Так был проглочен, а затем извержен Бармалей, ставший после пребывания в брюхе у Крокодила «и добрее, и милей». Причем Бармалей был съеден за детоедство — наказание соответствует преступлению. Крокодилья утроба столь вместительна, что может пожрать самого пожирателя, в ней есть трансцендентная емкость, превышающая объем мирового зла. Точно так же наказывает Крокодил и собаку Дружка, которая оказалась «нехорошим барбосом, невоспитанным»; в целях воспитательных грозит он проглотить и грязнулю в «Мойдодыре». Утроба Крокодила — поистине отеческая. Не матерински нежная, вынашивающая для жизни, и не по-волчьи злобная, обрекающая на гибель, а нравоучительная, воздающая. Глотание здесь — обратимый процесс, в нем нет ничего последнего, страшного, безысходного. Проглоченное может быть возвращено свету, как и сам свет (в сказке «Краденое солнце»).

И недаром Крокодил — самое семейственное из всех животных у Чуковского: у него трое детишек, о которых он нежно заботится, и даже своего племянника он любит, «как сына своего». Единственный, перед кем неустрашимый Крокодил склоняет голову, — это доблестный мальчик Ваня Васильчиков: «Не губи меня, Ваня Васильчиков! Пожалей ты моих крокодильчиков!.. Отпусти меня к деточкам, Ванечка…» Крокодил здесь — отеческое начало: он молит ребенка — и молит за детей. И дети его любят: «Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый Крокодил», «Ваня вбежал и, как родного, его целовал».

Мне кажется, Крокодил — самый лирический образ у Чуковского, в котором выразились отеческие чувства автора к собственным детям. (Кстати, в лице Чуковского заметно нечто

крокодилье: удлиненный овал лица, утяжеленный массивной челюстью. Не сложился ли этот образ из самонаблюдения, из автопародии, включившей и лирический, и моральный мотивы?) И не потому ли дети так любят эти сказки, что в них найдена самая убедительная персонификация отцовского начала — образ нравоучительной утробы, перед которой все живое должно вновь и вновь подтверждать свое право рождения, первично утвержденное матерью? В сущности, все сказки учат одному: дорожить благом рождения и пуще всего бояться той тьмы, которая предшествовала ему. Уж коли живешь на белом свете, будь достоин его: не зарастай грязью, не угнетай других в темнице своего живота или в клетках зоопарка, иначе сам познаешь тесноту крокодильей утробы — она тебя научит…

Всей своей мудростью сказка выталкивает ребенка из чавкающей трясины на обжитую поверхность мира, где чисто, сухо, светло.

6

Но этот высушенный мир, наверно, все-таки слишком шершав для ребенка — нужна какая-то смазка…

Одно из самых неприятных для меня ощущений — мокрость, склизкость: хочется поскорее оттереться. Оля же, едва завидев перед собой хоть капельку жидкости, размазывает ее по всему лицу и телу, как драгоценный елей, втирания которого освежительны и благотворны. Нескудеющий источник этого елея она находит у себя во рту. Как некий первосвященник собственного естества, она помазывает своей слюной все предметы, с которыми сводит знакомство, и тем самым проливает на них свою детскую благодать, посвящает в таинство жизни.

Оля долго водит по ним пальчиком, помешивая и растирая в теплой слюне, как бы готовя к поглощению и перевариванию. Слюна ведь есть вещество питания, предназначенное растворять и усваивать внешнее во внутреннем, и то, что ребенок метит ею все окружающие его предметы, свидетельствует о гораздо более широком «вкусе» к жизни. Слюною ребенок склеивает себя с окружающим, как бы создает непрерывную, тянущуюся связь — мы же, напротив, стараемся отклеиться от приставучего вещества, и всякие следы липкости на коже нас раздражают, «пачкают».

Слюнявый, испещренный влажными пометками мирок, окружающий ребенка, — что это? Память о том вместилище, из которого он вышел на свет, — или стремление вместить в себя все то, что еще извне объемлет? «Еще» или «уже»? Скорее всего, сам момент превращения. Ребенок окружает себя клейкой пеленой, чтобы воссоздать вокруг себя среду материнского чрева, — но для уже рожденного этот возврат возможен лишь как увлажнение окружающего мира. То младенческое, что было объемлемым, становится объемлющим — лишь бы не кончалась теснота и влажность самого объятия.

Вспоминаются «клейкие листочки» Ивана Карамазова, которыми тот знаменовал свою исступленную любовь к жизни превыше смысла ее. «Клейкие» — тоже как будто елеем помазанные. Да и что такое елей, как не масличный сок! Не только человек, но даже и деревья, все живое имеет свою детскую слюнку, первую, резвую, прыскающую влагу, елейно-клейкое начало бытия.

Эта слюна и есть сок жизни, а «смысл жизни» — ее усыхание, шероховатость отлипшего, непритертого существа, мучающего себя вопросом: к чему я?

7

Среди субстанций самая родная и близкая Оле — тягучая, вязкая. Но есть у нее свои предпочтения и в мире форм. Оля — Великий Исследователь Щелей, Знаток Пуговиц и Петель, Эксперт по Крошкам и Узелкам, Профессор Пупырчатых и Дырчатых Наук. Ее внимание и прилежание в этой области поистине безграничны: всегда наготове любознательный пальчик, который то и дело утыкается в какую-нибудь крошечную несообразность на совершенно гладкой поверхности. Так, сидя у меня на коленях, она открыла мне, сколько свалявшихся ворсинок и запутавшихся крошек таит мой шерстяной свитер. Пальчик ее — словно магнит, вытягивающий из пространства всякие искривленности, утолщения, нелепые загогулины.

Большую часть времени она проводит в этом своем тщательно подобранном, подробном мирке, мирочке, сплошь состоящем из неправильностей, оплошностей, несуразностей нашего большого мира. Благодаря Оле я впервые заметил, как условно и приблизительно мы живем, привыкнув пропускать мимо себя те сучки и задоринки существования, которые непременно ее зацепляют. Например, для нас пол представляет сплошную, гладкую поверхность, удобную для ходьбы; для Оли это прежде всего отступление от нашего понятия — множество глубоких щелей и мелких трещинок, совокупность изъянов. Рубашка для нас — это плотно облегающая ткань, а для Оли — швы и прорехи, то есть выходы в пустоту.

Можно сказать, что Олин мир — это негатив нашего, прокравшееся в него по капелькам небытие. Все в нашем твердом, наполненном мире интересует Олю лишь постольку, поскольку оно зияет или торчит, открывает пустоту или окружено пустотой. Отсчет ведется от ничто, как у Лао-цзы, для которого дом состоит не из дерева или камня, а из пустот, в них прорубленных (двери, окна, трубы…). И так весь мир выдолблен: форма — частичка небытия, внесенная в бытие. Сосуд — это полость, вдутая в стекло. Это иномирный взгляд, свойственный существу, еще не сгустившемуся и потому столь же чувствительному к пустоте, как плоть чувствительна к плоти.

У «дворца небытия» есть своя архитектура. Дырочки и пупырышки, выступы и выемки, зубчики и зазубринки одинаково интересны для Оли как отрицание простого наличия, как разрывы в однообразной протяженности мира. Эти разрывы всегда соотносительны: там, где есть петелька, в которую можно просунуть пальчик, есть и пуговка, которую приятно обкатывать

пальчиком и вминать в мякоть. Вообще, пуговицы — осязательное лакомство Оли, она может долго-долго их крутить. Мы месим и катаем мир как тесто, требуя от него сплошной, равномерной наполненности, — а Оля выковыривает из этого теста всякие неразмятые и непропекшиеся комочки, словно сладчайшие изюминки.

Только «выдающиеся» (буквально) вещи и значимы для нее — то, в чем палец может ощутить задевающую, трогающую власть непохожести. Если бы мир только и состоял из таких вещей: радужных лохматых пылинок, подтеков краски на мебели, отгибающихся уголков обоев, всех бесчисленных пустяков, которых для нас просто не существует, — как было бы прелестно и необременительно жить! Словно в осенней тишине, подробной до самых последних звуков, или в пространстве абстрактной картины, среди точек и черточек, послушных любому истолкованию и произвольному движению взгляда. Тем и прекрасны пустяки, что через них в нашу жизнь глядит пустое, прозрачное, еще не заплывшее весом и смыслом.

8

Первое, что Оля научилась показывать на себе — раньше, чем ухо, нос или глаз, — это пупок. Хотя он всегда на виду, но и упорно скрывается из виду, в нем есть заманчивость тайны, выдающей себя ровно настолько, чтобы не выдать до конца.

Пупок явно представляет собой какую-то инаковость в теле — он и есть иное, вобранное в себя. Потому, наверно, Оля раньше всего заметила его и облюбовала, проявила ту же пристальность, что и к щелкам, рубчикам, всяким зияниям и вывертам в пространстве. Причем пупок заметно отличается от прочих отверстий в теле, имеющих ясное предназначение: ртом ешь, глазами смотришь, ушами слышишь, ноздрями дышишь… Все эти отверстия широко распахнуты, впускают множество вещей, вестей, веяний — через них свершается каждодневная работа тела. А пупок — словно глухой заросший лаз, ведущий к запертым воротам. Что там за ним, какая неведомая жизнь? И вот Оля подолгу роется в нем пальчиком, как бы дальше исследуя проход к неизвестному, сосредоточенно молчит — а то вдруг покажет нам с удивленной и довольной улыбкой первооткрывателя: посмотрите-ка, что я нашла, какая тут закавыка!

Вспоминаю детское свое ощущение от пупка: что за странный тупичок, куда он должен вести? Почему так легко начат и так быстро закончен путь? И ведь это в самом деле выход в никуда — во внутриутробное пространство, в дородовое время, в то, чего уже нет. Пупок — единственное, что никак не обусловлено потребностями замкнутого в себе тела, а, как печать, удостоверяет его происхождение.

Долгое время — чуть ли не до двенадцати лет — я воображал, что через пупок у женщин рождаются дети, что замкнутое это отверстие должно как-то раскрываться по воле природы. Я словно бы не мог согласиться с тем, что рост бытия состоит в его зарастании. Должно быть наоборот: все тупики когда-нибудь углубятся и получат выход. Вот и Оля упрямо тычет свой пальчик в тесную ямку, с тою же надеждой на выход в открытое пространство, на раздольный мир за глухой стеной.

Все-таки поразительно, до чего ребенок в простоте своей чувствителен к иномирному. Все воронки и раструбы бытия, все ввернутое снаружи или развернутое изнутри заставляет его чутко внимать и устремляться навстречу, будто позывные родины — на чужбине.

9

После того как Оля впервые выделила в себе заповедную часть — пупок, она быстро научилась показывать и другие, более открытые части своего тела, главным образом отверстия и окончания: рот, уши, глаза, пальцы — все, что расступается, оттопыривается, выдается. Но, показывая отдельные части себя, она никак не могла понять и охватить себя как целое.

Когда мы спрашивали ее: «Где Оля? Покажи Олю!» — она смущалась и делала вид, что занята чем-то другим. Не понять вопроса она не могла, потому что состоит он из хорошо знакомых слов; но и ответить тоже не могла, потому что — как же показать себя целиком, к чему прикоснуться, в чем найти свое средоточие? Да и кто бы не затруднился указать точное место, где находится его «я»?

Правда, Оле раньше удавалось показывать себя целиком — прячась и появляясь. Но совсем не одно и то же — явить себя из небытия и само свое бытие положительно обозначить.

И вот пришел срок гениальной догадке… На очередное наше любопытное и «развивающее»: «Покажи, где Оля?» — она рукой потянулась к животу и ткнула пальцем в пупок.

Так, примерно к году, завершилось Олино освоение собственного тела. Но ведь здесь и сама жизнь ее началась, завязалась в отдельное телесное существо. Не повторяет ли круг познания — круга, замкнутого рождением? Не рождается ли в самопознании человек снова и снова, как целостность, замкнувшаяся в той же точке, «пупке», где впервые стала собой? Неустанный, неведомый по цели труд: выявлять и завершать свое «я», рождать его снова и снова, втягивая вовнутрь то, что выходило наружу, — и в местах этого самоопределения оставлять маленькие, ввернутые внутрь, духовные и плотские завязи, словно круглые печати, удостоверяющие возврат личности к себе самой.

XII. Общение

Публичное внимание к ребенку — прообраз той высшей демократии, которая избирала бы своим полномочным представителем не самого сильного, а самого слабого, нуждающегося во всеобщей опеке.

1

Не могу понять, в кого характер у Оли. Я был в детстве меланхоличен, Л. — серьезна, рассудительна. Дочка же — бойкое и неугомонное существо, необыкновенно расположенное к окружающим. Вся ее мимика и жесты — сплошной оклик: «Эй, здравствуй! Давай поговорим!»

Ни у меня, ни у Л. этого не было в детстве, нет и сейчас. Но вместе, пожалуй, мы и в самом деле образуем существо достаточно общительное и открытое. Какая-то вибрация друг другу передается, и то, что мы как пара собой представляем, не похоже на каждого из нас — более подвижно и свободно.

Но может быть, как раз на него-то и похожа Оля? То зыбкое, двуединое, что порою возникает между ее родителями, но держится непрочно, завися от настроения и обстоятельств, — это призрачное в ней, наконец, воплотилось.

2

Весной переехали жить в подмосковный поселок Голицыно — и благодаря Оле за день приобрели столько знакомых, скольких я один не приобрел бы за год.

Вот мы катим ее в коляске по оживленной улице, и она что-то лепечет, показывает, размахивает руками — но разве только к нам она обращается? Нет, ее слова разлетаются вширь, и любой прохожий может по праву ответить ей, потому что это и к нему вопрос, и за него зацепка, — и он оборачивается, втянутый этим шумным круговоротом речи, и на равном с нами основании отзывается, идет рядом, что-то объясняя ей и показывая.

Бывает и так, что в разговор вступают не с ней, а как бы от ее имени, переводят на свой лад ее речь, такую бурную и непонятную, что обязанность толкователя напрашивается сама собой; а заодно привносят и свое, в виде несобственно-прямой речи от лица Оли. Да разве ее речь чья-то собственность? Она всякому по свойству невразумительности принадлежит. Народу легко и приятно глаголить устами младенца: «Вы, папа с мамой, посадите-ка меня на подушечку, чтобы было виднее, да сзади матрасик подложите, чтобы не опрокинуться назад, да шапочку мне получше завяжите, чтобы в ушки не надуло…» Если с *ребенком* чаще заговаривают мужчины, то с родителями *от имени ребенка* — пожилые женщины, у которых чувство солидарности с жизнью сильнее, чем интерес к новому собеседнику.

Да и мы охотно включаемся в эту обстановку публичности вокруг своего ребенка, даже сами ее создаем. Непрерывно комментируем перед Олей происходящее, как будто экскурсовод ведет почетную делегацию и все показывает, объясняет…

В сущности, ребенок — действительно делегация, правда неизвестно из какой страны, и действительно самое публичное лицо на свете — никакой политик с ним не сравнится, потому что публичность политика распространяется на круг его поклонников и избирателей, в лучшем случае — всех сограждан, а публичность ребенка — на все человечество. Он словно бы еще не сокрылся в свою частную жизнь и потому виден, как на арене, с той лишь разницей, что взрослому для привлечения всеобщего интереса нужно надеть какую-то маску, тогда как ребенок интересен именно ее отсутствием. Причем интерес к политикам, артистам и другим публичным персонам — слегка заискивающий, зависимый: пиетет неудачников перед высоко вознесшимся кумиром. В ребенке же каждый видит не провал своих социальных амбиций, а грандиозный успех биологического

воплощения, напоминающий о том, что все мы, родившись, попали в круг избранных, куда из тьмы рвется и не достигает множество невоплощенных. С ребенком мы переживаем совместную радость и гордость *быть* — просто быть…

3

Помню, как в сухумском обезьяннике, переходя от клетки к клетке, я усвоил простое правило: самое интересное в мире живых существ — это детеныши и вожаки. Вот где полная непринужденность и непредсказуемость действий. Во всех остальных особях ощущается какая-то стертость, угнетенность стадным положением: на них скучно смотреть, тускнеет чувство жизни. И лишь маленькие обезьянки с блестящими, озорными, почти человеческими глазками, юркие и бесцеремонные, да огромные свирепые вожаки, неподвижно сидящие на своих царственных местах и одним угрюмым взглядом блюдущие порядок в своем стаде, — лишь они значительны и приковывают внимание посетителей.

Что же получается? Для того чтобы сохранить свободную живость детства, изначально дарованную всем, взрослому нужно стать вожаком, то есть выделиться из многих и многих. Вот как прореживаются и утесняются наши возможности на земном пути: в той жизни все так же полновластны и независимы, как в этой лишь единицы, свобода которых обходится рабством сотням и тысячам других.

В почитании немногих вознесшихся — отцов нации, звезд кино и т. д. — каждый из нас, как выявлено психоанализом, поклоняется собственному «сверх я», «идеалу я», воплощенному в других. Но не лучше ли достигается эта психоразрядка в любовании ребенком, где тот же идеал явлен нам не в отчужденном и подавляющем образе «вождя», а в напоминании о собственной, прирожденной нам царственности. Дитя-бог, дитя-царь, дитя-громовержец. «И маковым громом на тронном полу играет младенец…»[20].

В российском обществе, столь пострадавшем от ярости своих обожествленных отцов, легко заметить особую расположенность к детям, какое-то ласковое кружение вокруг них народной души. Это повсеместное внимание к ребенку как к олицетворению свободы, чистой и самодеятельной человечности приобретает у нас значение массовой психоаналитической процедуры, очищающей от гнета последующих возрастных напластований. Устрашенная и подавленная своей реализацией в «сверх-Я», народная душа ищет прибежища в «до-Я», в «пред-Я» — в ребенке. На Западе все эти колебания между полюсами «сверх» и «до», как правило, решаются в пользу центрального звена — «я» взрослой самосознающей личности. Россия же постоянно уклоняется от этой «золотой» середины, взлетая и падая вверх тормашками. Но

в ее чуть пьяном и загульном умилении младенцем есть и прозрение. В том, чтобы родиться, — такая высота удела, в сравнении с которой мелки прочие наши достижения. Вот на какой удаче нужно учиться — азбучной, как вдох и выдох. Младенец зван и избран на пир, на котором все мы восседаем рядом с ним, как равные с равным, как уже рожденные.

Теснясь вокруг младенца и общаясь с ним и через него, мы гурьбой рвемся в единственную свободу, нам всецело распахнутую. Тут свобода еще не отделилась от равенства, не пошла по разводящему их элитарному или эгалитарному пути; но только в ней, в этой детской свободе, изначально равны все живущие. Публичность вокруг ребенка — прообраз той высшей демократии, которая избирала бы своим полномочным представителем и властным средоточием не самого сильного, а самого слабого, нуждающегося во всеобщей опеке. Все, что в царстве земном может и должно быть от Небесного, возводит детей в цари. «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18: 4). Попечением, а не подчинением, доброй силой вокруг слабого, а не слабостью перед крутой силой крепился бы тот общественный строй, который мгновениями оживает на улице вокруг ребенка.

4

Когда детей нет, очень страшным кажется их завести. «В такое время… нет, мы не можем решиться. А вдруг что-то произойдет… мы же себе никогда не простим», — говорят наши бездетные друзья. И дело не в житейских трудностях, а в апокалиптических ожиданиях. Все мерещится война, всеобщее одичание и истребление, обтянутые кожей скелетики, лучевая болезнь, медленное и мучительное умирание, пронзительный вопрос в глазах: «Зачем вы меня родили?» Именно в мыслях о возможности завести ребенка и переживаешь весь ужас всесветного конца, особенно жестокого и бессмысленного по отношению к едва начатой жизни.

По отношению к себе угроза апокалипсиса воспринимается довольно абстрактно: ведь ты уже живешь — и ничего другого тебе не остается, как жить дальше. Но в страхе за будущее ребенка апокалипсис приближается и вопрошает в упор: готов ли ты родить, чтобы тут же обречь на смерть?

Этот страх нагнетается до жутких снов, общей подавленности и опустошенности. Но вот удивительно: рождается ребенок, и когда страхи должны были бы обрести почву и многократно возрасти — они проходят. Живешь, как и раньше, даже радостнее и безмятежнее. В мыслях, конечно, не исключаешь и войны, но смиряешься: ведь никуда ребенок не денется, уйдешь из жизни вместе с ним, а если суждено — то и души будут вместе. Пока ребенка еще нет с тобой, неизвестно, где он, какой он, — ты боишься, как бы не разминуться с ним во вселенском распаде! Но как только ребенок становится явью, уже знаешь, что ничто не может вас разлучить: та самая сила, которая вас сроднила, — она же не даст вам расстаться и в будущем. Рождение есть акт воссоединения со своим ребенком: раньше вы были в разных жизнях, а теперь — в одной.

Поэтому страх потерять ребенка особенно силен до его рождения, когда он действительно затерян — словно в многотысячной толпе, через которую тебе никогда не пробиться. Если же ощутил его руку в своей, то рев и топот вокруг сразу отдаляются: это уже иной мир, а вы — в своем. Раз найденное, в глубочайшем смысле, уже нельзя потерять. Да ведь и там, откуда он еще не пришел, опасности, ему грозящие, быть может, в тысячу раз сильнее всяких воображаемых ядерных катастроф. Главное — быть рядом с ним, вывести его в тот мир, где ты можешь его спасать — или гибнуть с ним вместе.

Обычно этими «страхами», на которые ссылаются сознательно

бездетные, они подкрепляют свою решимость не иметь ребенка. В этом есть лукавство: вроде боишься его потерять, а на деле — оставляешь в еще худшей затерянности. Право страшиться утраты дано лишь тому, кто уже приобрел, но потом оказывается, что само обретение побеждает страх. Уж если тяжело расставаться с ребенком, то разве не тяжелее — вовсе не встретиться с ним никогда?

5

Прошлым летом на даче мы, особенно Л., которая была тогда беременна, испытывали порой по ночам смутную тревогу: подозрительные шорохи слышались во дворе, кто-то иногда постукивал в окно, поскрипывало крыльцо под чьими-то шагами. Этим же летом, когда с нами дочь, тревога прошла, ничего страшного уже не мерещится. Почему? Казалось бы, причин для страха прибавляется — не только за себя, но и за ребенка. Но в том-то и дело, что не мы оберегаем его, а он своей беззащитностью оберегает нас.

С рождением Оли мы перестали бояться не только за нее, но и за себя, и за всех. Как будто в ней есть что-то такое, отчего даже война не может случиться — именно потому, что ей нечем себя защищать.

Если мы до конца — не ради испытания себя, а по необходимости, всем существом — отдаемся на милость Всевышнему, то Он сам становится нашей защитой. Сами по себе мы уже не в состоянии так довериться — и лишь благодаря ребенку, с его неведением и слабостью, оказываемся в столь беспомощном положении, что спасение может прийти лишь само.

Многое из того, что происходит с нами, сначала случается внутри нас. И потому ночная тревога становится всего сильнее после того, как мы запираем двери. Тогда-то и начинают слышаться подозрительные шорохи и тревожить догадки: ведь запершись, мы уже допустили, что кто-то захочет ворваться в дом. Этот «кто-то», нам угрожающий, сначала возник внутри нас — от него-то мы и задвинули щеколду. Если же он и в самом деле придет — то не потому ли, что услышал нашу тревогу, воплотился из нашего ожидания? Засовы рождают воров, — сказал Лао-цзы[21]. А внутри дома засовы рождают страх.

Младенец — незапертая дверь во всю нашу последующую жизнь. Любое будущее может посягнуть, вломиться, настичь — но нет страха, потому что это будущее не за прочными засовами, оно к нам вхоже, растит нашего младенца, каждый день что-то обновляет в нем, будничное и хлопотливое, как няня.

XIII. Заповедь

Полюби ближнего, как дитя свое. Ведь любовь к детям — нечто гораздо более ясное и несомненное, чем любовь к себе.

1

Принято считать, что родительская жизнь полна больших и малых забот, требует сосредоточения, суровости, добровольных лишений и жертв. У меня противоположное ощущение: с Олей в нашу жизнь вошла беззаботность. Прежде, когда мы были одни, мы все время строго требовали от себя: делать то-то, не отвлекаться, не распускаться. Имелся некий образ совершенства, которому надо было следовать, стиснув зубы и скрепя сердце. Теперь с надеждами этими покончено: сама растущая незавершенность вошла в нашу жизнь, и уже ни в чем нельзя до конца соблюдать точных правил и привычек. Мы отпущены на волю и не знаем своего завтра, как бродяги; все делается по текущей необходимости и с легкостью сердца. Купание, кормление, стирка — забот столько, что это и есть настоящая беззаботность, поскольку обо всем остальном не хватает сил даже подумать.

Кажется, я стал менее чувствителен к физической боли. Недавно несколько раз ходил к зубному врачу — и все это прошло легко, не задев меня. Плоть как будто слегка отодвинулась от нервных окончаний. Так у растения, когда пробьется молодой побег, прежняя мякоть жухнет и легко отваливается. Истинная моя плоть, в которую нервами врастаю, — дочь.

2

Благодаря Оле простор жизни так распахнулся, что уже невозможно все предугадать, заслониться. И сразу стало виднее все впереди. Тех неожиданных вихревых поворотов, из-за которых вылетает нечто совсем новое и непохожее, я в своей жизни уже не предвижу (но как, быть может, заблуждаюсь!). Гладкой равниной, с небольшими неровностями, она расстилается передо мной. И не страшен этот далеко видимый простор, а томит какой-то полусветлой печалью, знакомой всем, кто живет на российской равнине. В этой ровности жизнь постигаешь как то, что есть, что вот сейчас лежит перед тобой, а не то, что ищется и достигается, чего можно желать от жизни.

> Земную жизнь пройдя до половины,
> Я очутился в сумрачном лесу,
> Утратив правый путь во тьме долины[22].

Встреча с «новой жизнью», с Беатриче, направила заблудившегося Данте на правый путь, в конце которого, как венец всех странствий, его ждет все та же Беатриче.

К тому времени как стать отцом, я прожил около тридцати лет, почти половину жизни моего отца. На середине жизни все вещи приобретают осязательность и привычность, ибо предстоящее уже измерено прожитым, хотя бы в протяжении своем. Но в чьем лице разглядеть собственное будущее?

Через Олю я могу так далеко заглянуть в свое будущее, как ни через кого другого. Пути всех, кого я знаю и люблю, могут оборваться раньше или разойтись с моим, но дочь неотступно ждет меня впереди. Как я — единственно достоверная память о ее начале, так она — единственно достоверное предсказание о моем конце, точнее о том, что будет со мной в этой, а может быть, и в другой жизни. Собственно, сейчас мое будущее идет со мною рядом, его можно коснуться, взять за руку — словно душа, опережая свое тело, заглядывает за край жизни, идет вперед по пролагаемому дочерью пути.

3

Почему, родив ребенка, начинаешь иначе, более умиротворенно, думать о собственной смерти и посмертной жизни? Ведь остается все то, что страшило и раньше, — ад бесприютности для души, выброшенной из обители тела. И однако — все другое, как будто уже чем-то знакомое, пережитое.

В ребенке словно бы видишь заранее весь ход собственного воскресения: в нем — ты, но обновленный, готовый жить дальше. Рождение ребенка и любовь к нему — не есть ли это упражнение для души, обучающейся жить за пределами своей плоти? Если философия есть одинокая мудрость умирания, отрешения от тела, то педагогика есть наука воскресения, обретения своей души — в теле ином.

Правда, педагогику нужно тогда истолковать не как «вождение детей», а как «вождение *детьми*» — не только мы их, но и они нас ведут вперед, по тому таинственному пути, какой всем нам предстоит по скончании дней. Насколько педагогика стала бы глубже, если бы ей, наряду с прежней задачей воспитания детей, была придана обратная задача: воспитывать родителей на опыте детства. И тем самым подготавливать их духовно к воскресению, к обретению нового, неименованного мира, в который с младенческой робостью войдет возродившаяся душа. В детях нам с достоверностью раскрыто почти все, что мы имеем право знать о своей грядущей жизни. Нам вручается карта, на которой пунктиром обозначены маршруты передвижения души, способы ее вживания в телесность и пространственность иного мира, области запретные и опасные. От этого урока, быть может, зависит наше личное спасение.

Ведь нелепо же предполагать, что наш интерес к детям имеет чисто утилитарную и рекреационную ценность: отдых, забава, отвлечение от забот. Нет, дети поучительны нам так же, как и мы — им: для того главного, что еще нам предстоит и перед чем все наши заботы кажутся игрой, так же как их заботы — игра по сравнению с нашими. То, что нам предстоит при вступлении в жизнь после смерти, наше рождение «туда», легче всего представить по собственным детям, опыту их вхождения в эту жизнь. *Мы, как родители, вводим их в эту жизнь, а они вводят нас в другую, посмертную.* Вот это *взаимное вождение* родителей и детей из жизни в жизнь и есть *педагогика* в высшем смысле.

4

Первое для меня открытие этой новой педагогики состоит в том, что смерть и воскресение есть один непрерывный процесс роста. Как родовые, так и смертные муки возникают от переполняющего начала новой жизни, как превозможение собственной малости. И потому за этой болью, даже внутри нее, живет ликование, несравнимое с обычными жизненными радостями. Все, чем тело может наслаждаться, быстро его пресыщает, ибо оно вмещает радость только за себя. Но невозможно пресытиться радостью за своего ребенка, за его здоровье, рост, радость…

Даже телесно ощущаешь дитя как лучшую и бессмертную часть себя. Когда Оля хорошо ест, с аппетитом поглощая то, чем я ее кормлю с ложечки, у меня по всему телу разливается теплая волна — словно я сам впитываю эти калории и витамины. Тут утоление передается сразу, не пищеварительным, а каким-то иным, хотя и вполне физиологическим путем — тем же самым, каким дочь изошла от отца и остается его плотью и кровью. Вообще, любое бессознательное проявление жизнелюбия в ребенке — аппетит, рост, подвижность, интерес к окружающему — есть всем телом ощутимая апология отца, «патриодицея», поскольку подтверждает и приращивает ценность изначального родительского дара.

Для меня нет выше признания, чем похвала Оле, когда врач находит ее здоровой, а гости — милой! Такую степень удовлетворенности нельзя испытать по отношению к себе. Когда меня за что-нибудь хвалят, мое восприятие притупляется, я от себя отстраняюсь, плохо слышу и не запоминаю. То, что я сделал или написал, — это одно из моих многих «я», причем наиболее продуманное, целевое, добытое в работе над собой и потому не самое подлинное. Но когда хвалят Олю, тогда-то я и воспринимаю лестное на свой счет, остро подмечаю, ловлю каждое слово и переполняюсь гордостью. Надо родить ребенка, чтобы почувствовать меру несовершенства прочих своих творений. Ребенок — единственное, в чем мое «я» запечатлелось полно и непридуманно, с неподвластной мне самому силой правды. Ведь ребенок создан по моему подобию, но не по моему произволу: мы не можем своей волей замыслить и воплотить его, как произведение искусства. Я застигнут врасплох — и оказался лучше того, за кого раньше себя принимал: двойное торжество. Это все равно как, чудом пережив смерть, наблюдать славный итог своей жизни, уже не зависящий от моих дальнейших

слабостей и падений.

И самому порой хочется поделиться Олей, как переполняющей радостью, которую вместить одному не под силу. Иногда она так улыбнется, так посмотрит — все лицо станет ясным и пронзительным, как взгляд, — что хочется подтолкнуть случайного прохожего: да взгляните же! Тягостно ощущать, что эти ослепительные мгновения тратятся на меня одного, а я и так уже полон до краев. В ребенке есть такие чары, распирающие душу созерцателя, что остается либо свой взгляд отвести, либо взгляд других привлечь, чтобы действие умерилось, распределилось поровну. Это и есть новая жизнь, которая, превышая нас, готовит к страданию-радости умирания и воскресения.

5

Родительство — состояние таинственно-просветленное: здесь я вступаю в самую глубину религиозного опыта, ибо становлюсь подобным Отцу. Я постигаю, что это значит — порождать из себя и любить порожденное. Недаром эта заповедь — самая начальная из всех (в первой главе Бытия): «Плодитесь и размножайтесь». Сотворенный по образу и подобию Творца, человек полнее всего приемлет Его образ в родительской своей ипостаси, ибо сам творит по образу своему.

Милосердие и сопереживание доступны нам прежде всего по отношению к собственным детям. Вообще, человек окружен множеством других людей, в отношении которых, как ни старайся, не избежать зла. Он утверждает себя за их счет, он завидует лучшим и презирает худших, он безразличен или ревнив к их удачам, он отделяет свое благо от чужого — тут много тяжелого, мрачно-самолюбивого. Ребенку же своему никто не желает худшего, чем себе, — тут всякий проявляется с самой милосердной, божеской своей стороны, которая могла бы задать меру обращения человека с человеком вообще.

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7: 11). Тут сравнение идет от земного отцовства к Небесному: как отец любит своих детей, так Бог — всех людей. Но дальше это сравнение опять нужно низвести на землю, распространив уже на отношение человека ко всем людям, которых он должен полюбить той же всеобъемлющей любовью, какой любит их Небесный Отец. В этом переходе и обороте сравнений — вся диалектика и взаимное пополнение человеческого и божественного. Частицу отцовства в себе доразвить до целого, до *любви ко всем людям как к детям своим.* Тут нет ничего мечтательного, потустороннего — заповедь любви выводится из реальнейшего уподобления, проверенного с обеих сторон: вот дети мои, а вот другие люди, тоже дети Отца Небесного. И если Он похож на меня в своей любви к детям, то и я должен походить на Него в своей любви к людям.

Именно в переживании отцовства человек обретает посильную сопричастность иначе не постижимому Божественному опыту. То всепрощение и самоотверженность любви, какую Бог питает к людям, человеку неоткуда заимствовать — только из своих родительских чувств; потому что этими же чувствами и поясняется Божественная любовь в Писании.

6

Это свое родительское чувство я начинаю обращать на других людей, и они открываются мне вдруг в такой беззащитности, что нельзя их не любить жалеющей и виноватой любовью, причем даже лучших и преуспевающих из них. Только родителю ведомо слабое, хрупкое, незавершенное в его дитяти — эта вечно зияющая, незатянувшаяся ранка, как при рождении. Может быть, оттого, что Оля еще мала и от меня не отлепилась, я и в других, вполне взрослых людях родительски осязаю эту неотлепленность, ну как родничок незакрывшийся, родимую мякоть на головке — то, что остается в каждом рожденном и чем он соединен с Отцом.

Никакой другой любовью: ни разумно-социальной, ни возвышенно-гуманистической — я не могу любить чужих людей, пока не воспринял их как детей своих, которые до смерти останутся детьми. Все, что приобретают они, вырастая, — силу, знание, успех, — все это если и вызывает любовь, то какую-то ревнивую, избирательную. Это любовь к совершенству, к расцвету жизненных форм в их завершенности, и мне почему-то кажется, что ревность, зависть, даже ненависть оттачиваются на острие этой же самой любви, как проявление ее острой и разделяющей избирательности. И напротив, чувствуя младенческую слабость, зыбкость под броней сложившихся индивидуальностей, мы и влечемся к ним тем родительским чувством, которое — от единого Бога и ко всем людям.

Пробую это свое родительское проникновение перенести на нелюбимых, чем-то задевших меня, — и мне открывается возможность их полюбить. Вот С. — какая у нее светлая пушистая головка, и как издавна я понимал непутевость этого своего дитяти. С жалостью подмечал избыточность ее жестов, будто в попытке защититься от невидимых сквозняков, и ее внезапные порывы вывернуть душу наизнанку на глазах у всех, талантливо разыграв свою бесталанность. За этим разбрасыванием и опрокидыванием всего и вся — какая неустроенность, какой вихрь, ежеминутно сжимающийся и ускоряющийся, чтобы от бездействия не распасться!..

Во всех людях, знакомых мне со своей надежной, укрепленной стороны, вдруг проглянула такая потайная брешь, заметная, наверно, только их родителям, что впору броситься к ним и заслонить. Никто из нас сам собою, готовым и целым, не приходит в мир, у каждого остается свой родничок, через который душа его входит при рождении и выходит при смерти. И только сомкнувшись этими своими детскими нецелостями, мы можем

образовать нечто целое. Каждый каждому ребенок и родитель.

7

«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7: 12), «люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18). Я не мог применять эту заповедь в отношении многих ближних, потому что они созданы были другими и изначально вели себя совсем не так, как я бы себя вел на их месте. Именно потому, что они были другие, я не мог поручиться, что они хотят от меня того же, чего я от них.

И лишь когда я переменил для себя правило, сказал себе: *полюби ближнего, как дитя свое,* — они, эти немилые и далекие, сразу приблизились и утеплились в моем существе, как будто и впрямь попали в родительское лоно. Достаточно только увидеть или представить в чужом лице то детское, что было в нем когда-то, — и сразу оно становится менее чужим, потому что во мне пробуждается отеческое, когда-то вмещавшее этого ребенка. И бывает, что сразу во многих людях, окружающих меня наулице, проявляется это детское, и хотя я один среди них, я лучше начинаю понимать Творца и то, почему Он всех их любит.

Раньше я терялся в неизвестности от того, что людям нужно иное, чем мне, теперь я исхожу из того, что им нужно то же самое, что и детям, — ласка, тепло, всеобъемлющее участие. Эта потребность столь проста, самоочевидна, что утолить ее можно и нужно сразу же, не подставляя рассуждением себя на их место, что в сущности невозможно, потому что у каждого — место свое. Я уже не думаю: «Чего я хотел бы от такого человека, как я, будь я на месте С?» — ведь на месте С. я бы с самого начала думал и действовал иначе. И это мое взрослое право, которого никто у меня не отнимет, как и я не могу отнять у нее права быть иной, чем этот смертельно скучный Э. Как поставить себя на чье-то место, если ты не прошел всего пути, ведущего к нему?

Детство же — это как раз то общее место, от которого начинаются все пути, и там не нужно ставить себя на место другого — достаточно представить другого ребенком, чтобы испытать к нему то, в чем нуждаешься сам: любовь, жалость, желание со всех сторон обнять, вобрать, защитить. Через то единое, откуда исходят все люди, и впоследствии проще всего им соединиться.

8

Дело не только в том, что «другое» у взрослых отличается от «своего» — неясно то «свое», которым в золотом правиле мерится отношение к другому. «Возлюби ближнего твоего, как *самого себя»* (Мф. 22: 39). При всем согласии с этой заповедью я не мог почувствовать ее до конца, здесь оставалось что-то чуждое моей душе. И не оттого, что требовалось возлюбить ближнего — это как раз было яснее всего, — а оттого, что примером такой любви ставилась любовь к себе. Казалось бы, это самое простое и понятное, раз от него проводится сравнение, но постичь это труднее всего. Разве я люблю себя? Наверно, люблю — но еще и ненавижу, и боюсь, и стыжусь, и борюсь с собой. Отношение к себе столь противоречиво, любовь здесь погружена в такое сплетение светлых и темных начал, напряжением которых движется внутренняя жизнь, что непонятно, какой из этого можно извлечь образец отношения к другому.

Мне все ближе становится иное мерило нравственности: относись к другому так, как если бы он был твое дитя, почувствуй себя его отцом, не делай ему того, чего не хотел бы для собственного сына или дочери. *Возлюби ближнего своего, как отец любит своих детей.*

Ведь эта любовь к детям — нечто гораздо более ясное и несомненное, чем любовь к себе. Порою человек вообще не любит себя, или безразличен к себе, или даже хочет собственного уничтожения, — на таком ли шатком основании должно строиться его отношение к другому? Нет. Другого нужно любить как другого, не сводя счетов с собой, а то может получиться эгоизм наизнанку. Если к себе человек беспощаден — значит, имеет право на беспощадность и к другим? Но ведь в другом есть та высота и неприкосновенность, которую и нельзя, и не надо ощущать в себе.

Ребенок — это и есть «другой», который вбирает «я» родителя, но не тождествен ему. Мой ребенок — середина пути между мной и другими, вернее, сам путь, к ним ведущий и приобщающий. В любви к ребенку — самый наглядный и увлекающий прообраз любви к чужому, поскольку здесь оно раскрывается как свое.

И не просто как «свое», а как восхождение «своего» на иную ступень, где оно становится более достойным любви, чем во мне самом. Человеку свойственно любить свое дитя больше, чем себя, и желать ему лучшей участи. Ребенок — более «я», чем я сам: «я» в том пределе, где оно перерастает мою косность, ограниченность

и смерть. Вот почему любовь к ребенку — более надежное мерило нравственности, чем любовь к себе. Себя мы любим (или не любим) человеческой любовью, а его — божественной. Любить ближнего не как себя, но как дитя свое — значит относиться к людям так, как относится к ним Отец, а не так — небрежно, расточительно, ожесточенно, — как сами они склонны относиться к себе.

9

Пишу дневник *отца* — и уже не чувствую границ этого слова, оно расплывается, вмещая превосходящий меня смысл и требуя написания с большой буквы. Какого отца? Не Отца ли? Не есть ли весь этот дневник — невольная притча о тайне Отеческого?

Кощунственно утверждать, но допустимо спросить: не схожи ли чувства и помышления всех отцов, а иначе откуда бы Священное Писание брало образы для сравнений, эти двойные ряды, в которых высокое снижается для человеческого понимания, а низкое возвышается для человеческого поучения? И если Отец Небесный хоть в малой мере похож на меня, то разве не должен я еще больше походить на Него?

Я отец, но в этом обычнейшем и вседоступном качестве мне родственный смысл открывает завет: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И есть ли более прямой путь следования этому завету, чем нести тяготы, радости, искушения земного отцовства?

XIV. Вина

Никогда еще всемирная история человеческого рода, мистерия греха и искупления так вплотную не подступала ко мне.

1

Раньше я определял жанр этой книги как мифологический дневник — но теперь он все более превращается в теологический. Мифология — чреда метаморфоз, легкая превращаемость форм. Пока Оля вынашивалась и выхаживалась после рождения, все в ней было неуловимо и сменяемо, как во сне или в мифе.

Но вот незаметно *ты* превращаешься в личность. Я чувствую предел, за которым кончаются твоя пластичность и моя готовность бесконечно пленяться ею, беззаботно созерцать образы, мелькающие в тебе. И себя я ощущаю уже не многоруким Шивой, который на потеху тебе исполняет танец причудливых форм и мимолетных иллюзий, но строгим, поучительным божеством, которое обещает — и исполняет, требует — и наказывает, твердо ручается за все, что делает и говорит. В тебе рождается личность, во мне — некто, обязанный нести тебе волю и закон Сверхличного.

2

На одиннадцатом месяце мы отметили возникновение у дочери чувства вины. Это случилось 7 июня 1980 года — удивительно, что такие метафизические вещи, как вина, тоже могут прорезываться в определенный день, как зубы.

Чувство вины выдало себя телесно — дрожью. Мы уже давно запретили Оле брать в рот тапочки, которые она мусолила с превеликим наслаждением. В этот день мы сидели на одеяле в саду. Оля, вопреки обыкновению вести себя шумно, вдруг притихла… Уже в этом, видимо, затаилось сознание греха. Когда я увидел, как она засунула в рот тапок, и тихо, не повышая голоса, сказал: «Оля, чем ты занимаешься?» — она вдруг резко и сильно вздрогнула. В первый раз она вздрогнула, как будто повинуясь чему-то внутреннему, — и в столь малом дитяти это было неожиданно и жутковато. Как будто молниеносная трещина прошла по всему ее душевному составу, расколов навсегда невинность и лишив безмятежности.

Никогда раньше она не вздрагивала, даже когда самолеты с диким ревом низко проносились над нашим дачным участком, чтобы сесть на аэродром по соседству. То была не физическая дрожь — чувство греха запало в мое дитя. Зернышко первого трепета, которому предстоит разрастись в бурно трепещущее древо познания добра и зла. Никогда еще все будущее моего ребенка так близко и мгновенно не касалось меня, пронзая своим цепким корешком. Никогда еще всемирная история человеческого рода, мистерия греха и искупления, так вплотную не подступала ко мне.

3

Вздрагивает человек, застигнутый врасплох и осознавший, что тайна его обнаружена. Дрожь есть внезапный, прерванный порыв к бегству, попытка спрятаться, когда спрятаться невозможно. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: [Адам,] где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3: 8-10).

Мне кажется, я вижу трепет, пробежавший по телу Адама, когда он услышал голос, его настигающий, голос, от которого никуда не сокрыться, потому что он звучит отовсюду. И я понимаю жалость и нежность, пронзившую сердце Господа, когда Он увидел трепет Своего любимого творения. Вот и мое крошечное дитя доросло уже до греха, и ему некуда от меня скрыться, мой голос должен всевидяще и неумолчно раздаваться над ним, не отпуская ни на минуту в его крошечные, но уже недозволенные тайны.

И все-таки хорошо, что ты вздрогнула. Это лишь потом, закосневая в грехе, человек начинает изыскивать надежные средства к сокрытию — тогда-то он и становится преступником, когда грешит не дрогнув, не сознавая тщетности своего бегства от Всеведущего и соведающей Ему совести. Тот, кто вздрагивает, еще не конченый грешник, ибо признает себя таковым. Вся жизнь и мысли Раскольникова после убийства есть сплошная дрожь, метание в поисках сокрытия: он рванется — и замрет, бросится — и остановится, потому что видит себя то перед людьми, от которых можно спрятаться, то перед Богом, от которого нельзя укрыться. Отсюда и лихорадка — физический симптом внутренней дрожи, обрывающихся и возобновляющихся порывов к спасению.

Бедная, ты вздрогнула, взяв запретную вещь, — какой пустячный грех, но какое истинное его переживание! Ведь проще было бы тебе не понимать запрета, и не чувствовать греха, и не вздрагивать, а продолжать как ни в чем не бывало возиться с тапком, в детской своей непосредственности. Мы бы отняли его у тебя, как у неразумной, непонимающей, ничуть не упрекая и не наказывая.

Но ты предпочла понять — и потому вздрогнула. Понимание — зрелость нравственной природы, уже внемлющей Сверхличному в своей глубине. Сознанием можно упорствовать и не каяться, но понимание глубже: оно не мольбой, не поклонами,

не самобичеванием, а всего лишь дрожью себя выдает, настигающей изнутри, где мы над собой не властны, но безмолвно признаем над собой высшую власть.

Ты не столько совершила грех, сколько *взяла* его на себя, восприняв как запретное то, что родители еще могли бы расценить как невинную шалость. Господи, можно ли осуждать тебя за такой грех — или надо сильнее любить?

Я впервые понял, как можно любить за грехи и почему Бог любит грешных, тех, которые не отказываются понимать и вздрагивают, — всю эту *тварь дрожащую,* то есть стыдящуюся преступлений своих, неупорствующую, нескрытную. Умом-то они, быть может, и отважились преступить запрет, но вся природа в них своим сотрясением этот запрет подтверждает. В дрожащем грешнике явственнее всего причастность человеческой природы — Божественной, причастность столь таинственная, что она скрыта даже от человеческого сознания, которое легко может отпасть от Бога и противопоставить Ему себя. Трепет, живущий в глубине греха, как бы приоткрывает в человеке то неизмеримое, что превышает его волю и настигает во всем своем неумолимом и милосердном торжестве. Оттого дрожащие ближе к Господу, чем твердые и надменные, — как те, что в невинности своей *надмевают,* так и те, что упорствуют в преступлении. За глубину бессознательного понимания, за дрожь принятого греха и позволено грешных любить: не освобождая от заслуженного наказания, но проникаясь той отпускающей, горькой любовью, которая, быть может, вымолит им прощение и спасет от посмертного воздаяния.

4

Временами я чувствую какую-то неизвестную прежде суровость к тебе — хотел бы смягчиться, но ничего не могу с собой поделать. На твои милые проказы отвечаю окриком и угрозой, хотя прекрасно понимаю невозможность для тебя вести себя взрослее. Да, ты не можешь не нарушать поставленных тебе границ — но и я не могу их не соблюдать. Ты должна украдкой вытаскивать из шкафа посуду — я бы удивился, если бы ты вдруг перестала это делать; но и я дол тебя за это наказывать обидным шлепком, педагогически выражая не вполне искреннее возмущение.

Вдруг из нашей общей любви выросли два долженствования, которые все дальше разводят нас.

И хорошо бы, если б своей неумолимостью я отвечал на твою непреклонность. Но чем трепетнее ты, чем больше выражения вины в твоих глазах — тем строже я готов взыскивать с тебя. Я словно бы олицетворяю ту растущую степень кары, которую ты готова принять своим растущим сознанием вины. И в этом есть что-то неустранимо суровое — я пользуюсь просветом понимания в твоих глазах, чтобы встать и целиком загородить его новым законом или запретом. Я наказываю тебя за те прегрешения, которые ты сама и выдаешь мне своим замиранием, боязливым поглядыванием в мою сторону. Если бы ты как ни в чем не бывало продолжала играть посудой при моем появлении и ничто не дрогнуло бы в тебе — ничто не напряглось бы и не окаменело во мне, подчиняясь игу закона.

Не знаю: я ли своим гневом приучаю тебя бояться, ты ли своей боязнью подкрепляешь мое право на гнев? Но с того дня, как ты впервые вздрогнула от моего оклика и выронила запретную тапочку, — с того дня необратимо растут мучительные для нас обоих отношения подсудности и суда. И как бы я ни любил тебя, но в главном я ни за что не сделаю тебе поблажки. Иногда только притворюсь невидящим; но если ты сама хоть на миг заметишь мое бдительное внимание, я доведу его до повелительного окрика. Я буду преследовать тебя до самых границ твоего понимания и закреплять их вехами новых законов. Каждое движение твое к свободе бременем новой ответственности ляжет на тебя. Каждое понимание обернется устрожающим поучением. Я боюсь этого плена и гнета, которые сам готовлю для тебя, но они так же неотделимы от моего отцовства, как растущее понимание — от твоего детства.

Господи, почему мы не можем обойтись одною только

любовью? Для чего этот надзор, неравный поединок двух взглядов: на теплое мерцание ума в одном нужно ответить стальным отблеском воли в другом?

5

Прощать или наказывать — этот вопрос ежедневно и ежечасно встает передо мною. Подставлять ли «другую щеку», как подобает человеческому смирению, или требовать «око за око», как велит справедливость?

С другими людьми понятнее: там я только человек и должен смиряться, предоставляя Богу взыскание неподсудной мне вины. Но как быть с собственным ребенком? От кого усвоит он понятие о справедливости, как не от отца, который должен раскрыть ему связь поступков с отдаленными последствиями и неизбежным воздаянием, подготовить его к встрече с другими — менее любящими, неродными, «народными» отцами, блюстителями общества, и, наконец, с Небесным Отцом, который взыщет за все последним судом? Как не представительствовать отцу от имени этого выходящего за пределы семьи надличного отцовства?

Но, с другой стороны, отец — тоже дитя в Божеском мире, высшая справедливость ему неведома и требует не торопиться и не упорствовать со своим маленьким разумением и суетным приговором.

Положение отца двусмысленно: он человек в Божьем мире — и бог в мире своего ребенка. Так что же делать: вознестись над собой как человеком или низвергнуть в себе отца? Отсюда постоянная сбивчивость, неуверенность: то «перегнул палку», то «пошел на поводу».

6

Ах, если бы я обходился даже без милосердия, одной только законной и воспитующей строгостью! Но сколько безобразий я допускаю, за которые меня самого следовало бы строго воспитывать — да пока еще некому.

Когда Оля вертится в постели, вскакивает, сбивает простынку, не желая угомониться и заснуть, я с такой звериной яростью стягиваю ее одеялом и перекручиваю лентой, что с ужасом обнаруживаю в себе прирожденного истязателя. И когда приходится дать шлепок, я заношу руку для столь размашистого удара, что совсем сокрушил бы дитя, если б в последний миг не попридержал себя. А как я кричу на Олю! Какие угрозы и проклятия изрыгаю! В какое бешенство впадаю при чуть затянувшемся непослушании! В ответ на малейшую детскую выходку я с многократным неистовством выхожу из себя.

В такие минуты мне было бы страшно встретиться с собой лицом к лицу. Причем именно благие намерения и приводят обычно к такому взрыву: отец, образумливая ребенка, оказывается уже не в состоянии владеть собой. Сами сдерживающие меры вдруг вырываются за рамки простейшей сдержанности.

Тут действует как бы эффект резонанса: вплотную обхватывая ребенка, я пронизываюсь теми же самыми стихийными вибрациями, которые должен подавить, и они приобретают во мне размах, во много раз превышающий их маленький пульсирующий источник.

Есть нечто бесовское в природе ребенка, в его непрестанном *играний,* переходящем за терпимый и разумный предел. «Игрун» — это про беса так говорят. Вот тут-то и нужен терпеливый, любвеобильный труд умиротворения своего чада. Но лукавый потому и любит борьбу, что легко в ней раздваивается, принимает то одну сторону, то другую. Бесенок сдается в ребенке, однако своей назойливой мелкой щекоткой раздразнивает большого и страшного беса в отце, перепрыгивая из неразвившейся души в сознательную и выпрямляясь здесь во весь рост. Подавляя своенравный импульс, я прилагаю энергию, уже не только ему равную, но многократно усиленную беспощадным сознанием своей правоты. Ужаснее всего, когда эмоция помножается на принцип, гнев — на право. Та безудержность, с какой резвится дитя, еще не знающее правил и ограничений игры, пробуждает во взрослом ответную вседозволенность, которая уже поистине от Губителя. Так маленький пузырек воздуха беспечно играет, переливается красками и радует взор радужной мыльной

оболочкой, но, западая при литье в металл, может вызвать взрыв и разрушение всего механизма.

7

Сознаюсь в том, в чем труднее всего сознаться, чего не дерзает вымолвить язык. В родительской ярости, мгновенно налетающей на крошечное существо, бывает и такой ослепляющий миг, когда хочется его уничтожить. Так оно мало, призрачно еще на земле, что — и вовсе бы не было, смахнуть, как пылинку. Близко за ним — обвал в небытие, соизмеряя которое с его ничтожным тельцем и сроком жизни, испытываешь внезапный прилив сил на полное уничтожение. Тогда руки наливаются свинцом, язык тяжелеет бранью и какая-то увесистая, размашистая сила готовится налечь на хрупкое тельце, отшвырнуть его вместе с досадой, которую оно причиняет. Именно сила, двойная по отношению к своей, — приходится сдерживать ее, как бы руками вцепляясь в свои руки, кровью смиряя свою кровь. И страшные слова слетают взамен укрощенных ударов: «К черту! Убью!»

Я бы притворился, сказав, что эта сила не моя, внушенная, «от беса», что я только укротитель ее; но и назвать вполне своей не могу. Она — от того же сверхличного избытка, который вывел из меня на свет это дитя, а теперь требует безусловно владеть и властвовать им, вплоть до непримиримости к малейшим чертам его отдельности: крику, капризу, непослушанию. Тут какая-то неустанная возгонка родительской власти, которая в своем абсолютном притязании на рожденное переходит из божественной в дьявольскую. Сначала отец, возрастая над своим «я», дает жизнь другому, а затем, желая и этот предел переступить, вновь присваивает эту жизнь себе, вместе с правом ее отобрать. Пресловутое «я тебя породил, я тебя и убью» целиком умещается в отцовской природе, которая равным образом охватывает два абсолюта, с неуловимо тонкой, стирающейся гранью между ними.

У Сартра есть взрывоопасная мысль: «Ад — это другие». В самом деле, других вроде бы не должно быть, если есть хоть одно «я», способное их осознавать, вмещать, охватывать собой. Зачем они — вовне, если могут быть внутри, сообща населять пространство одной самости? Но особенно другие — ад, если они только что изошли из тебя, если они — дети, еще привычно ощущаемые как части твоего «я»: сперва такие послушные — и вдруг взбунтовавшиеся до назойливого крика и каприза. Тут ад ужесточен бессознательным напоминанием о недавнем и по существу возможном рае, когда рожденное еще было слито с родительским.

Как обойтись с другими людьми, «исчадиями ада» — неизвестно: все-таки они произошли независимо от тебя, и нужно возомнить себя Богом, чтобы притязать на их жизнь, как если бы она принадлежала тебе по праву создателя. Такие самообожествленные, чтобы выйти из ада, стреляют в других или в себя, тем самым упраздняя «инаковость» как проблему или, выражаясь более социально, ликвидируя «других» как класс, опасный для утопии самовоцарившегося «я». Если же другие — собственные дети, то и в Бога незачем себя возводить, достаточно восчувствовать в себе родителя, то есть как бы уже и бога: моя плоть и кровь — я дал, я и беру.

Тяжело признаться, но бульбовское «убью», которое ужасает даже по отношению к взрослому сыну-изменнику, — оно же болезненными толчками отдается и в чувстве к неразумному дитяти. То ворчливым шепотком, то громовым раскатом… Всякое непослушание, едва в нем шевельнется зародыш чужой воли, отзывается яростным приливом всех сил, столь же бесконечно превосходящих своенравное дитя, как создатель превосходит созданное. Это почти что физиология отцовства, ощущающего как мучительный изъян малейшее сопротивление порожденной части и неистовое желание немедленно вернуть ее целому. Матери, наверно, неведом такой гнев — она иначе справляется с детским непослушанием, лаская и прижимая к себе неугомонное дитя, поскольку родила его из себя. В отцовском же теле нет места для младенца, и поэтому они связаны больше волей, чем плотью. И чтобы эту враждебную волю подавить, отец не столько вбирает ее в себя, сколько все дальше и дальше отторгает — криком, приказом, угрозой, впадая в бесконечную последовательность отчуждений… Замкнутый круг, разорвать который можно либо полным смирением, либо страшным насилием.

Другие — это и в самом деле прижизненный ад, но только для тех, кто готовит себе посмертный. Воистину же другие, и особенно собственные дети, есть возможность рая, поскольку благодаря им мир не сводится к одной знающей себя душе, но простирается в бесконечность, данную каждому для прохождения, как возможность самому меняться, быть другим. В гневе душа сжимается до наименьшего в себе, ибо не способна принять и вобрать другого, и это есть признак ее умирания и выпадания из царства душ, способных к росту и воскресению.

8

Вот почему терпение спасительно для души: это способ возрастать благодаря всему тому, что есть другое, вбирая его, а не исторгая из себя. Все препятствия и отказы, побродив на закваске терпения, становятся созидательными для души. Про ярость говорят «слепая» и «глухая» — она ничего не хочет видеть и слышать. Терпение все приемлет и подготавливает такое состояние мира, когда каждый будет слышать и видеть другого, обнимет все, что раньше было чуждым ему. Терпение к собственным детям, перед которыми родительский гнев имеет все права и потому особенно неистов и всесилен, учит всякому другому терпению, которое с чужими людьми дается уже легче.

Именно потому, что родительство — состояние просветленное, его сильнее всего искушают темные силы. Ведь человек, становящийся богом, — это и есть орудие дьявола. И поскольку отец — ближайшее подобие Небесного Отца, то в этом же и величайшая для него опасность: взять на себя полноту и значение Отцовства. Именно через семейных и «народных» отцов, как бы замещающих верховного Творца, божественное чаще всего переходит в дьявольское. На этом переходе, где родительское чувство готово расшириться до бесконечности, и рождается мучительный соблазн.

Иногда я поддаюсь ему, иногда преодолеваю. Главное здесь — встать по ту сторону обоих абсолютов, в собственно человеческий промежуток, который именуется — терпение. Никогда с достаточной точностью не отличишь в себе божественного всемогущества от дьявольской вседозволенности, если не откажешься от этого *«все…»* Нужно знать свое место в служении ребенку. Десятый и двадцатый раз безропотно откликаться на его ночной крик, подходить и укладывать, укутывать, укачивать. Не давать себе воли в судорожной попытке связать, оборвать, пресечь.

С последнего места, куда я раньше ставил терпение среди всех добродетелей, оно теперь перемещается для меня на первое. Да и овладеть им труднее всего, ибо из тех побуждений к истине, согласию, справедливости, которыми сильны другие добродетели, как раз и рождается нетерпение: желание незамедлительного блага во всем и для всех. Ведь ради чего отец гневается на ребенка? Ради его же блага, которое тут же, воочию и собственноручно, необходимо воплотить. Терпение — это умеренность в отношении к самому благу, способность умерять его претензии на абсолют. Терпеть — значит и не потворствовать,

и не подавлять, а делать должное в меру самого долга, не превышая его избытком тех прекрасных чувств, которые однократным усилием стремятся повернуть вспять все медленное и упорное течение жизни. Не оставлять опасный предмет в руках ребенка, но и не бить по рукам, дабы никогда не брал впредь, — а просто вынимать раз за разом. Распределять душевные усилия с той же широтой и повторяемостью, с какой расстилается вокруг души среда ее обитания — земля, действительность, время.

Ребенок — школа терпения. Чего стоит один только тянущий, бесконечно жалобный и настырный, гложущий душу звук плача. Как ни пытаешься его оборвать, он, утончаясь, проскальзывает между всех утешений и тянется, тянется, не отпуская слух, высверливая его до самого основания. Ребенок не чувствует времени, его мир — мгновенная вечность, которая у нас раскладывается на минуты, часы и дни. И не есть ли терпение — такая способность собирать воедино расколотое время, проживать его без маеты и разорванности между прошлым и будущим, что дается лишь чувством непреходящего в самой душе? Вот почему терпение — высшая способность, вносящая в ход времени целокупность вечности. Терпением проверяется, найдет ли в вечности душа освобождение и покой или будет корчиться в адском пламени неостановимых минут.

9

Когда на родителей наваливается лавина неотложных дел и новорожденная жизнь претерпевает самый бурный, вулканический период роста, требует непрестанного участия, многих оберегающих рук и следящих глаз, — вот здесь испытывается на разрыв наша душевная ткань, ее крепость и вместимость. Дыхание укорочено, учащено, выдох начинается, когда еще не кончен вдох… Но в этих-то условиях кислородной недостаточности и укрепляется душа, напрягаются каждодневным трудом легочные мускулы, и нет ничего здоровее для души, чем выхаживание ребенка. После такого закаляющего опыта образуется избыток участия и расположения к любому человеку.

Остается лишь один вопрос: много ли самому ребенку достанется из той душевной шири, которую он своим стесняющим существованием в нас образует.

10

Вчера ты заплакала так, как никогда раньше не плакала. У тебя вырвали изо рта картонку, которую ты с наслаждением жевала и слюнявила, — вырвали резко, без предупреждения, мимоходом, потому что суетились по дому в ожидании гостей. И тогда, оскорбленная, ты закрыла лицо руками и заплакала, как взрослая, скрывая свои слезы, сжимая их в горстях.

Откуда эта ранняя уединенность горя, не терпящего свидетелей? Раньше ты плакала открыто, безудержно размахивала руками, словно отгоняя всех, кто доставил тебе огорчение, — и одновременно призывая их. Это было горе, доступное утешению. Ты откидывалась, выгибалась всем тельцем — уместно было тебя обнять, поддержать, крепко прижать к себе, и ты затихала, найдя успокоение в родной плоти.

И вдруг — этот сжатый в комок, затаившийся, огражденный ладонями плач! Как подойти, утешить тебя? Было бы грубо и недостойно схватить, как прежде, в охапку, подбросить, развлечь — ведь ты закрылась, ушла в себя, никого не допуская до своего горя.

Теперь только из тебя самой может возникнуть желание разжать этот ком — никто другой не властен над ним. Ты заслонила глаза рукой — мы даже видеть тебя не должны. Какая новая, пугающая черта пролегла между нами — нельзя выплеснуть свои чувства, растеребить, осыпать тебя поцелуями, нужно молчаливо сносить свою вину так же, как ты одиноко сносишь свою обиду.

Это случилось в день твоего рождения, когда тебе исполнился год. Праздник весь оказался окрашен твоей новой печалью, такой мужественной, гордой, представляющей горе на созерцание одной лишь собственной душе. Год назад ты впервые увидела белый свет — год спустя заслонилась от него, чтобы никто не видел тебя.

Словно бы уже не наружу, а вовнутрь родилась в этот день твоя душа — в такую сокровенность и глубину, где учится она предстоять лишь самой себе.

XV. Слова и шаги

Ты идешь ко мне, и я чувствую, что это мгновение останется для нас обоих надолго, может быть, навсегда. Мне хочется прощально помахать тебе, хотя ты приближаешься.

1

Ты узнаешь от меня имена вещей, которые будешь повторять потом всю жизнь. «Чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Страсть твоя к именам теперь поистине ненасытна. «А? а?» — постоянно раздается твой вопрошающий звук, и палец тычется во все стороны, целится на все предметы, точно ежик ощетинился сразу всеми своими иголками. И когда я нанизываю на каждую по словечку, ты успокаиваешься и, отяжеленная словесной добычей, на время впадаешь в довольную, многознающую немоту.

Для чего тебе нужны все эти названия, что прибавляет к наглядности, ощутимости предмета никак не связанный с ним звук? Что дает тебе, скажем, слово «тарелка», приложенное к тарелке, почему не удовлетворяет сам ее вид, цвет, круглость, гладкость? Видимо, в молчании вещей и впрямь кроется какая-то ущербность — ведь человек умеет говорить. Вот дети и допытываются названий — хотят, чтобы из вещей тоже рождались слова. Имя вещи они воспринимают как ее собственный голос.

Недаром ведь любимые, раньше всего усваиваемые детские слова — звукоподражания: «ав-ав», «кап-кап», «карр-карр», то есть такие, в которых слышен голос самой вещи или твари. «Ав-ав» Оля лучше знает и больше любит, чем «неотзывчивое» слово «собака». Разве случайно, что корова — это «му-му», акоза — «ме-ме»? Тут не условное имя, а само живое существо себя изъясняет, как ему единственно пристало.

Но как быть с вещами, обреченными на безмолвие? Вот тут и возникают наименования — как доверенные человеку речения самих вещей, их голоса, переданные его устами. Спрашивая название вещи, ты как бы ждешь ответа от нее самой, прислушиваешься: названа — значит, живет и вещает.

Это мы воспринимаем слова как условные обозначения, клички — ты же допытываешься и ждешь, чтобы вещь откликнулась, пискнула что-нибудь в ответ, возгласила бы свое особое «я» — как дождь возглашает «кап-кап», алягушка — «ква-ква». Так трогают затаившееся существо, ожидая, что оно громко о себе заявит. Если же вещь затаилась так глубоко, что безысходно молчит и почти умерла, задача взрослого — ее оживить.

Конечно, мы не боги и бессильны вдохнуть в вещь душу — так хоть имя подарим ей. Таков посильный наш труд перед детьми — наделять голосом тот мир, который сам не может выразить себя в слове. Чтобы как наречет человек всякую вещь,

так и отзывалась она.

2

Не только ты узнаешь от нас имена незнакомых вещей, но и мы от тебя узнаем смысл собственных, казалось бы, хорошо известных слов. «Ма-ма». «Папа». Когда еще полгода назад ты начала лепетать эти слоги, мы обрадовались тому, как рано и смышлено ты усваиваешь наш взрослый язык. На самом деле этот язык — твой, и теперь мы заново учимся на нем говорить, постигая тот смысл, который ты, по праву первотворчества, в него вкладываешь. Ведь эти долгие, многократные слоговые повторы: «ма-ма-ма-ма…», «па-па-па-па…» — поначалу выходят из младенческого лепета и лишь потом, усекаясь до знакового минимума, становятся двусложными словами, единицами взрослого словаря. Самые близкие люди, стоящие у колыбели — мать и отец, — выхватывают и закрепляют за собой самые первые звуки, которыми младенец выражает свои чувства.

Мы говорим и думаем о себе твоими словами, и, пока еще не угас в них трепет словотворчества, можно поразиться тому, до чего же точно выражено в них разное отношение к нам. Слушая твое «па-папа», я начинаю понимать, что я значу и кем должен стать в твоей жизни.

«Ма-ма-ма…» с самого начала произносилось жалобно, как будто этим звуком ты молила о помощи и защите. Эти материнские слоги — хныканье, полуплач, еще не разразившийся горлом, но уже дрожащий на губах. Ты выговаривала «ма» как «муа», «мыа», с унылым и протяжным звуком причитания — «у-у-у», «ы-ы-ы» — посередине.

«Па-па-па» — это, напротив, легкий, бодрящий звук: губы как бы играют на трубе, в ритме бравурного марша. И часто, трубя мое имя, ты барабанишь в такт ногами и руками, создавая целый оркестр боевого, походного звучания. Еще по фонетике известно, что «п» — звук звук взрывной, а «м» — смычный, и этим передаются разные чувства: «п» — открытое, порывистое, воодушевленное; «м» — стесненное, печальное, жалобное. Ведь и мы, напевая какую-нибудь мажорную мелодию, за основу берем слог «па»: «Па-рам-па-па-парам-па-пам» — призывная труба и звонкие литавры. В «ма» же слышится рыдающая скрипка, ноющая флейта, жалобная волынка. Мама — «муа-муа» — та, кто откликается на жалобу, утишает боль, утешает в горе, призывается в тяжелые минуты. Папа — «парам-па-па» — тот, кто побеждает уныние и горе, широким шагом одолевает все преграды, ведет вперед по жизни.

3

Так открывалось нам происхождение имен… Но в последний месяц кое-что изменилось.

Слово «мама», уже отчетливо сократившись до двух слогов, вобрало все значения сослагательности и стало универсальным словом-желанием, словом-возможностью и словом-просьбой. Например, протягиваешь мне какую-нибудь игрушку, чтобы я поиграл с тобой, и говоришь: «Ма-ма!», все равно как «на-на!». Или наоборот, требуешь чего-то — и опять «ма-ма!», с настойчивостью, переходящей в нытье, как «дай-дай!». Таким образом, «ма-ма» для тебя — не только определенное лицо, но и некий способ идеальных взаимоотношений, когда все предлагаемое будет взято, а все желаемое — получено. «Ма-ма» — детская утопия о мире, от которой в конце концов остается лишь один человек, достойно ее воплощающий, — мама.

Зато слово «папа» первым стало обозначать твердую и несомненную реальность, вырвавшись из того размытого эмоционально-интонационного ореола, который до последнего времени окружал все твои звуки. Раньше нельзя было с точностью определить, что «папа» относится именно ко мне, а не вызвано каким-то поводом, прихотью, настроением. Ты произносила это слово всякий раз по-разному, как будто это не название определенного предмета (меня), а междометие, выражающее сложную гамму чувств: «па-па!» — приподнятость, удивление, задор, устремленность…

Но вот вчера тебя в очередной раз спросили, показывая на меня: «Кто это?» И ты, обычно невнимательная к таким «лобовым» вопросам, уходящая от них в лукавую неопределенность, вдруг произнесла ясно и отчетливо, безо всякой интонации, просто констатируя факт: «Папа». Я наконец был определен этим именем — как некто, существующий реально и просто, независимо от любых чувств и пожеланий ко мне.

Призвук невероятности еще не растаял в моем слухе, словно в безотчетном журчании воды я вдруг внятно уловил свое имя. Я вдруг понял, как твой тонкий голосок сможет когда-нибудь произносить обиходные слова: «забор», «холодильник», «квитанция». До сих пор я не мог представить, как воздушная струйка детского лепета, легко взмывающая гирляндами зыбко-прозрачных шаров, будет вращать тяжелые лопасти громыхающих слов, пробиваться сквозь нагромождения морфологии и синтаксиса; но теперь в твоем голосе мне послышался тот ровный напор, который размерит, расчленит любую звуковую массу. И

хотя еще чудится мне какая-то несовместимость между хрустальными переливами твоего голоса и всеми известными словами, все-таки кристаллизация речи произошла, лепет сгустился и отвердел в словарное значение слова. Вопрос «Кто это?» не остался без прямого ответа — я назван.

До сих пор мой образ витал вокруг тебя абстрактно и призрачно, затерянный среди бурно-невнятных чувств или в полном безмолвии, — и вдруг, одним точным словесным попаданием, я очутился прямо перед тобой. Услышав «папа», я почувствовал себя по-новому отъединенным от тебя, изъятым из теплого предсловесного твоего существа и отодвинутым в мир означаемого.

Быть может, я освоюсь с этой отчужденностью настолько, что и сам стану так себя называть: уже не «я», а «папа» отзовется в моем самосознании твое слово, прежде несовместимое со мной, относившееся только к другому — моему отцу. И стану я тебе говорить: «Дай папе ручку», «Папа сейчас тебя накормит». Вот так мы превращаемся в других для самих себя…

Теперь, твердо обозначенный, я буду существовать уже не в тебе и не вокруг, а рядом с тобой, на расстоянии разделившего нас слова.

4

А через день, 12 сентября 1980 года, то же самое разделение совершилось и в пространстве — ты впервые сделала самостоятельные шаги, без поддержки, которую раньше требовала от нас.

Видимо, есть какая-то черта зависимости между шагом и словом, благодаря чему дети почти одновременно — примерно к году — начинают произносить первые слова и делать первые шаги. Пока дитя ползает, оно лепечет — то и другое есть нечленораздельность, слитность языка с гортанью и тела с землей: они еще не обрели упругую силу самостояния. Вставая на ноги, ребенок приобретает однозначную ориентацию тела в пространстве, для него четко разделяются верхнее и нижнее, переднее и заднее. Точно так же, начиная говорить, ребенок получает новую ориентацию своих мыслей во времени. Слова членят мир на части, которые выстраиваются в определенной последовательности: раньше — позже, первое — последнее, предпосылка — заключение.

И так вся жизнь, прежде смотанная в тугой клубок, разматывается в долгую нить, из которой и ткется судьба каждому. Разлохмаченный кончик подцепляют сейчас пряхи, чтобы тянуть его все тоньше и дальше — нитью произнесенных слов и пройденных путей.

5

Итак, ты начала ходить…

Всякое значительное событие происходит неожиданно, его нельзя вынудить, поторопить — но оно само посылает в мир опережающие знамения. Оно исходит как бы не из прошлого, а из будущего; незримы его причины, но зримы приметы. Раньше ты никогда не выползала за порог двери, отделяющий веранду от крыльца: здесь на твоем пути всегда возникало некое невидимое препятствие. Ты сама установила для себя это зарубежье. Часто ты копошилась у самого порога, рассматривала выставленную на крыльцо обувь, но никогда не заносила ногу на эту «нечистую», внешнюю территорию, не опиралась на нее рукой, словно могла внезапно провалиться сквозь «потусторонние» доски.

И вот сегодня ты внезапно выползла на крыльцо… Чудо, видимо, и состояло в том, что ты обрела новое измерение в пространстве. Ты уже чувствовала в себе силу ходить, о которой мы не догадывались, и эта же способность поднять и нести себя над землей открыла тебе выход за порог дома.

Через час мы, осененные смелой догадкой, поставили тебя одну посреди дачной дороги — и ты, забавно улыбаясь, как будто трогая новую игрушку, сделала первый шаг. И потом — еще и еще, одолев сразу расстояние до соседской калитки сотней своих крошечных спотыкающихся шажков. Велик же был запас, накопленный тобой для первого шага: высшей мерой надежности обеспечивает свои начинания природа, осторожная до расточительности.

Ты шла на полусогнутых ножках, готовая в любой миг присесть, вновь сдаться на милость земле. Ты шла, лопоча что-то призывное и решительное, — таких вдохновенно-гортанных, резких, наступательных звуков, причем обращенных к самой себе, мы не слышали от тебя никогда. Это была зажигательная речь, рожденная чувством преодоления, броском в неизвестность. На твоем лице читались хитрость и гордость, словно все, что ты совершала, было не вполне дозволенной и хорошо удавшейся проделкой.

И еще по ходу первого самостоятельного движения ты делала много лишнего: то причмокивала губами, то помахивала рукой, то потирала живот — словно проверяла, не потеряно ли что-то в таком сумасшедшем пути. Все эти автоматические жесты придавали тебе дополнительную уверенность и владение собой — так канатоходец посвистывает, проходя с шестом над пропастью. Попав в рискованную ситуацию, человек подключает могучий

ритм подсознания к делу, где вмешательство сознания может обернуться провалом.

6

Ты шла навстречу нам — и смотрела каким-то новым, отделяющим взглядом. Впервые между нами было столько пространства. Еще вчера, когда ты не умела ходить, я всегда мог сократить расстояние между нами, это зависело только от меня. Теперь я ждал тебя в отдалении — пространство вдруг раздвинулось, потому что ты научилась его преодолевать. Оно стало вмещать твой медлительный шаг, твои отступления, возможность уйти, обойти — всю широту и свободу твоей неисповедимой воли. Раньше я был властелином пространства — теперь мне приходится делить эту власть с тобой.

Ты смотрела на меня необычно, так отстраненно и одновременно пристально, словно запоминала навсегда. Ты впервые видела нас такими, какими будешь видеть потом всю жизнь — лицом к лицу, напротив себя, в одном измерении. О том, насколько мы преобразились в твоих глазах, можно судить по тому, как ты преобразилась в наших — уже не дитя, а человечек, в синем костюмчике, белокурый, вполне самостоятельный и потому неправдоподобный и смешной. Раньше ты была крупным младенцем, теперь стала маленьким человеком. На руках, в кроватке, ползком на полу — ты казалась уже выросшей, почти взрослой, потому что мерой для сравнения была ты же — новорожденная. Теперь ты стала крошечной, почти игрушечной, но это потому, что необычайно раздвинулся сам масштаб восприятия: из кровати или комнаты ты перенеслась на простор земли, по которой ходим мы, взрослые.

И мы тоже теперь должны претерпеть превращение в твоих глазах: из существ иной породы, витающих где-то почти в облаках, снизиться до единоприродных тебе земных существ, детей человеческих, только огромных по мерке детей. Мы впервые — *предстали* тебе. Раньше мы передвигались недоступными тебе путями, появлялись из неожиданной точки, с противоположного края. Ты не могла охватить нас взглядом, потому что мы окружали тебя, как объем обнимает плоскость, как третье измерение заключает в себе второе. Теперь ты можешь измерить нас своим взглядом: выявились и пресеклись «тайные» пути, скрывавшие нас от обзора, уводившие в бесконечность.

И вот ты идешь ко мне, и я чувствую, что это мгновение останется для нас обоих надолго, может быть, навсегда. Мне хочется прощально помахать тебе, хотя ты приближаешься. Но это и есть прощание — когда уже не держишь на руках, не несешь на плечах, а стоишь — лицом к лицу, как с равной. Я уже не только в

тебе — я перед тобой, перед твоим словом и взглядом, названный, отчеканенный навек.

7

С этих мгновений, как ты уже можешь запомнить меня, на мой отцовский дневник ложится тень будущего «дневника дочери», твоего неотвратимого слова и растущей памяти обо мне. Наступает пора новой ответственности — время, когда мы уже подлежим суду твоей памяти. Мы выстраиваемся в готовности номер один — перед будущим, которое проводит нам смотр. Я чувствую себя резко постаревшим — точнее, «еще молодым», таким, каким буду казаться тебе лет через двадцать. Раньше, когда мы не чувствовали в тебе эту способность запоминать, мы жили в своем времени, в своем возрасте, теперь же сразу распахнулась та невообразимая даль, в которую донесет нас твоя память. Ведь память расходится из настоящего сразу в обе стороны: в прошлое, которое мы запомним, и в будущее, которое запомнит нас.

8

Я давно ждал, когда ты начнешь ходить. Чуть ли не с твоего рождения это событие, «первый шаг», приобрело для меня значение дальнего рубежа, за которым начнется твоя самостоятельная, совсем уже непредставимая жизнь.

И вот я стою сегодня у этой черты — головокружительное чувство исполненного срока и исчерпанного будущего. Ведь это примерно то же, что идти к горизонту с его убегающей линией — и вдруг догнать и наступить на нее. Что теперь придаст направленность ожиданию? Школа, институт, замужество, внуки? Зыбко, условно, далеко по времени, да уже и не ты это вовсе. И вот выясняется, что ничего равного по значению первому шагу — столь же четко отмеряющего ход времени — еще долго не предвидится в твоей жизни.

В тринадцать лет я, для собственных лирических нужд, составил первую автобиографию — перечень основных событий: «Пошел в школу», «Написал первое стихотворение», «Впервые влюбился». Как ни старался я подробнее расписать свою жизнь, между датами рождения и поступления в школу робко поместился лишь один пункт: «Год. Научился ходить». И потом целых шесть лет прошли в исторической безвестности — а ведь так хотелось, чтобы пунктов набралось побольше!

Конечно, до «научился ходить» много происходит такого, что выпадает из собственной памяти, и если делать пометки, то в самом начале жизни они сольются в почти сплошную жирную черту, непрерывный хронологический праздник. Сколько всего «первого» уже было на твоем первом году! Впервые увидела свою ногу, впервые перевернулась на живот, впервые засмеялась, впервые взяла чашку, первый зуб прорезался… И вот, немного выйдя за календарные пределы первого года, но, по сути, завершая его, — первое отчеканенное слово, первый самостоятельный шаг.

Ну а дальше? Не есть ли второй год — неизбежное накопление вторичного, возрастание самой повторности в жизни? Больше запомненных слов, протоптанных дорожек, заученных действий и правил, всего уже бывшего, выпавшего в осадок из быстрокипящего первого года.

9

Через несколько дней после того, как ты начала ходить, мне вдруг показалось, что ты скучаешь — впервые в жизни. Какая-то рассеянность и незанятость вокруг тебя. Ты бродишь по веранде, любимые игрушки, ложки, стаканчики валяются повсюду в глухом оцепенении, будто вырванные и омертвевшие кусочки когда-то оживленного тобой пространства. В твоих глазах открылся какой-то проем, куда медленно переливается пустота нашего общего мира.

Я помню, как в этот непрерывно растущий просвет когда-то вошло твое сознание вины, — теперь он полнится новым сознанием, перед которым уже не один поступок твой, но все присутствующее и происходящее лишается оправдания, отпадает от смысла. Вот и тебя пронизала до глубины эта проклятая трещина, через которую убывает, ничего не прибавляя и не осмысляя, тягучая длительность времени.

И так день за днем. Ты уверенно ходишь, играешь, плачешь, смеешься — но все это стало меньше тебя, не заполняет целиком. Как будто в тебе открылся какой-то новый орган скуки и томления, и ты равнодушно отторгаешь мирок прежде любимых затей и забав.

Ты жила, чтобы жить, а этого уже недостаточно. Что-то иное просится в твою жизнь — и не может попасть, и просачивается пустотой. Словно парашют, до отказа набитый гудящим воздухом, упруго несший тебя к земле, теперь мягко садится и опадает вокруг тебя, сморщиваясь в складки. В твоем существовании нарастает второй слой, прозрачно-белый, колышущийся, как сдутая оболочка, окутывающий неподвижностью и немотой — хотя сама ты становишься все проворнее и лопотливее.

До сих пор ты и жизнь точно совпадали в своих границах. По тебе можно было судить, что есть жизнь в ее наступательном азарте, ежеминутной готовности быть всем, чем она может быть. И вдруг на моих глазах произошло расслоение, границы жизни раздвинулись, обводя тебя тонкой и все ширящейся каемкой, будто обсыхающей отмелью, на которую уже никогда не вернутся волны уходящего моря. Ты уже не совпадаешь со своей возможностью, ты определяешься в бедности того, что есть сейчас, и оставшаяся жизнь удаляется, проходит мимо тебя, и ее все больше и больше — той, что никогда не вернется.

Я гляжу на бедный пол с полуободранным линолеумом, по которому разбросаны твои игрушки, на бедный стол, где отсвечивает лужица пролитой тобою воды, на бедный день,

пробирающийся сквозь осенние облака и сплетения ветвей к нам в окно. И это есть то, для чего ты родилась? Чтобы перебирать игрушки, передвигать тарелки, смотреть в окно, делать то, что бесчисленное количество людей уже делало и будет делать после тебя? И это тебе, Единственной, уготована такая участь?

А какую другую я могу тебе дать, если у меня — точно такая же, и я лишь твоею, еще неизвестною, обнадеживал себя?

10

Когда выручаешь человека из беды или выхаживаешь больного, все силы с надеждой устремлены к спасению — жить! жить! жить! Вся жизнь впереди видится как нескончаемый праздник и сама собой оправданная цель, до которой надо только дожить, найти последние средства дотянуться и оказаться в ней, как в уносящемся красном звенящем трамвае. И больной, обездоленный, отставший — догоняет, живет изо всех сил и во всю полноту надежды, пока не будет ему здоровья, удачи — жизни как таковой.

И вдруг… Как мелеет время, глубину которого, казалось, не исчерпать! Смысл был в каждой минуте, отчаянной, рвущейся, опасной, но все-таки приближающей к жизни; а теперь, когда впереди долгие годы, — что осмыслит их? Звенит себе трамвай, носится по одним и тем же рельсам. И прежние волнение и важность каждого шага: успеть — не успеть, попасть — не попасть — отступают куда-то перед легким, беспрепятственным мельканием столбов, домов, остановок. Вот это и есть оно — то самое — миллионами протоптанный, до железной колеи уплотнившийся путь?

Весь первый год мы с тобою спешили к жизни. Ты выздоравливала от небытия, и этот бурный приток сил, округление плоти, яснение глаз — все это вихрем счастья и самоочевидностью смысла несло нас вперед, с единственной, ни разу еще не обманутой надеждой, что твоя-то жизнь и будет всем тем, чем может быть жизнь вообще. И вот ты живешь, овладела движением и речью, и дальше летит время, уже не заполненное столь животворящим усилием. И ты — я угадываю это нашим общим «томлением духа» — не знаешь, куда деть себя в этом замершем мире, где вперед мчится, с металлическим звоном по рельсам, только время. Мы теперь — в одном с тобой мире, девочка.

Я вспоминаю, как ждал твоего появления, как изнемогал в здоровом и тщетном своем бытии. То была пустота перед взрывом, умирание — перед твоим рождением. Мог ли я думать тогда, что и в твою чудесную, спасительную для меня жизнь войдет эта же неразрешимая пустота, что она возникнет не откуда-нибудь, а из твоих глаз с их внезапным сквозящим просветом? Или опять мы ждем чего-то, что должно спасти нас обоих?

11

В такие минуты тягостной тишины и неприкаянности — мы вдвоем в дачном доме на краю огромного поля — ты становишься близка мне как-то особенно, *по-человечески.* Это слово так истрепано, что кажется, ничего уже нет в нем особенного. Но после всего надличного, божественного и бесовского, возникавшего между нами, я нахожу тончайшую прелесть и невыветрившуюся теплоту в том человеческом, что может по-новому нас объединить. Это такое малое, свое, отдельное, ни на что не похожее — человеческое. В огромном, распахнутом безднами сияния и мрака, эфирно просквоженном, астрально просвеченном мире человеческое почти так же мало, как муравьиное, ягодное, травяное, но оно — наше. В этом тесно-человеческом мы можем, наконец, сблизиться так, как не соединят нас никакие высшие силы, и так, что никакие низшие силы нас не разделят.

Помнишь, я возил тебя в коляске по полю, и дул ветер, очерчивая наше совместное одиночество… В какую неистощимую пустоту мира ты родилась! Потом все стало уплотняться, заполняться твоим зрением, слухом, лепетом, ползанием, быстрым разбуханием твоей ранней жизни. И вот ты заговорила, зашагала, устремилась все понять, испытать…

Но пока заполнялись пределы внешнего мира — та же пустота незаметно распустилась внутри тебя, раскрыла тусклые лепестки и глубокую сердцевину в твоем взгляде. Опять осень, октябрь, и опять мы канули с тобой в этот наземный проем, ветреное, продутое насквозь поле — только теперь оно *в нас.* И опять, чтобы не затеряться в нем, остается лишь знать: мы вместе, два наших одиночества бредут рядом и не потеряют друг друга.

Вот это и есть та человеческая малость, которая теснее всего может нас соединить, — малость двух былинок на ветру, сцепившихся корешками и ветхим комочком осыпающейся землицы. И если поднимет и понесет их ветер в скучную даль, то, лишенные всякой иной почвы, они найдут ее друг в друге, в слитном дрожании и сухой ласке сросшихся корешков.

XVI. Новая жизнь

Я радуюсь еще большему приобретению, чем предстоящему рождению второго ребенка, — ведь теперь и для тебя рождается новый мир, в котором ты — сестра.

1

26 сентября 1980 года. Две недели, как ты начала ходить. Два месяца, как тебе исполнился год. Два года, как вдохнули мы тебя в эту жизнь.

Узнай то, что мы с достоверностью узнали сегодня: у тебя будет брат или сестра!

Радуйся, девочка! Ты уже чья-то сестра.

«Брат», «сестра» — в этих словах есть какая-то целомудренная строгость, быть может, привкус монастырских обычаев, где ушедшие от всего мирского так именуют друг друга перед лицом общего Отца. Собственных братьев и сестер у меня не было, и понятия эти, лишенные семейной привычки, сразу явились как образы духовной посвященности.

С юности мне нравилась система «предустановленной гармонии» по Лейбницу: каждое существо — замкнутая монада, которая общается с другими не через двери или окна своего «я», а через общую основу, предустановленную от Бога. Эта связь личностей-монад через родительское начало и есть братство и сестринство: взаимная укорененность при полной независимости — два необходимых условия нравственного отношения между людьми.

Если религиозные отношения строятся по вертикали, от людей к Богу, то этические — по горизонтали, от человека к человеку. Семья — наглядная модель того, как этическое возникает из религиозного: отношения между детьми — из их отношений с родителями. Но у этики своя область равных и сопутствующих, где лепится новый, более полный и зрелый образ человека, не заданный ему от рождения. Отец и ребенок друг другу не «другие», ибо рожденный пребывал в родителе, как родитель пребывает в рожденном. Старшему — почитание, младшему — покровительство. Но опыт воспитующей взаимности можно по-настоящему почерпнуть лишь из отношений с братьями и сестрами.

Одиночество, благоприятное в минуты созерцания и вдохновения, все-таки, как постоянный удел «единственного» ребенка, очень опасно в нравственном смысле: замкнутость на себе, скрытность и отчужденность, склонность к соглядатайству. С ранних лет нужны «другие» и «равные», в отношении к которым развивалась бы высшая человеческая способность самосознания и самоотдачи: относиться к себе как к другому и к другому как к себе. Ведь не умея *осознавать себя как другого,* нельзя *другого чувствовать как себя.*

Конечно, всегда есть ровесники-одноклассники, приятели, соседи, но общение с ними по преимуществу социально, а не этично. Все-таки товарищ — не брат. Социализация бывает столь же мучительна и духовно разрушительна, как и ее антитеза — индивидуализм. Страх показаться смешным и неловким, стадный инстинкт, подражательная манера поведения, присущая детям и подросткам даже больше, чем взрослым…

Плохо оставаться все время одному и знать лишь себя, но не лучше и развиваться на отчуждающих примерах всеобщего, общепринятого. Нужна некая промежуточная область между одиночеством и социальностью — и это есть сестринство, братство. Здесь другое не отчуждено, а сохраняет близость и веяние своего, со-рожденного. Родительство и равенство, вертикаль и горизонталь даны тут в плавном переходе. Семейное, не сталкиваясь в упор с общественным, может постепенно расшириться до него, наполняя мир тем братством, которое не выдумаешь из головы, а лишь из родного корня вырастишь… Вплоть до всечеловеческого братства, в котором не устранять, а распространять надо теплоту дома и родства.

2

Я сетовал на неминуемую разлуку с дочерью — и в самом деле, уходя, я оставил бы себя в ней, но не рядом с ней. В ее брате или сестре я останусь с ней дольше и надежнее, чем в собственном исчезающем облике. Может быть, все дело отца — создать братство, в котором отеческое не выступало бы отдельно, как нечто возвышенно-подавляющее, но превращалось бы во взаимную любовь братьев и сестер, утверждалось силой их независимого тяготения друг к другу.

Сколько сложнейших вопросов взаимоотношения отцов и детей решилось бы на основе братства! Ведь отец не знает меры в своем стремлении судить и главенствовать, а ребенок — в своей склонности к непослушанию и своеволию; отсюда — сражения бесов и бесенят, деспотизм и капризность…

Брат же брату — и отец, и сын в одном лице. На брата переходит и отцовский долг: заботиться, воспитывать, опекать, — и сыновний долг: повиноваться, исполнять, поддерживать. Так же взаимно обратимы и права наши: требовать — и просить, задавать цель — и искать опоры. В реальной семье тот из братьев больше отец, кто старше, и тот больше дитя, кто младше, но частицы того и другого непременно есть в обоих. Полюбить ближнего как брата — это значит полюбить его и как сына, и как отца своего. Все братья, но одни по душевной природе — старшие, им нужнее послушание, другие — младшие, им нужнее ласка. Однако никто из людей не может и не должен быть в отношении другого только дитем или только отцом, но лишь тем и другим одновременно.

В братстве каждый восполняет в себе недостающее ему качество: отцовскую суровость — сыновней почтительностью, детскую шаловливость — родительской ответственностью. Через братское отношение к другому нам дано восстановить целостность в себе. Братство как слияние отеческого и сыновнего в каждом есть высшая полнота человеческого, которая нам завещана, может быть, даже высшее совершенство, чем позволил себе Сам Господь, ибо Он — только Отец, а мы — только дети Его. И не для того ли Он сокрылся от нас, чтобы мы познавали Его не в отдельности от себя, а друг в друге, Отца — в братьях и сестрах своих?

Конечно, нельзя не видеть, что отношения между братьями, как правило, прохладнее и суше, чем между родителями и детьми, именно потому, что лишены той однозначности, внутри которой легче достигнуть совершенства. Доступнее держаться

чего-то одного, учительства или ученичества, чем восполнять его противоположным, уравновешивая в себе крайности. И особенно извращается понятие братства, когда кто-то из братьев, чаще старший, присваивает себе статус отца и перестает быть сыном брату своему, требуя почитания и послушания, но не воздавая ему таким же исполнением сыновнего долга. Сущность братства — именно в том, чтобы отеческое не переходило в диктат, а ребячье — в каприз, чтобы, исправляя взаимную односторонность, они создавали целостность в человеке.

3

Вот откуда у меня ощущение небывалого: отцом я становлюсь вторично, а ты сестрой — впервые. Я радуюсь какому-то еще большему приобретению, чем просто предстоящему рождению второго ребенка, — ведь теперь и для тебя рождается новый мир, в котором ты — сестра. Не в ком-то еще неведомом, а в тебе самой я ощущаю загадку новообретаемого родства. Ты — чья-то сестра, и значит — уже чья-то любовь и привязанность, игра и беседа.

Как это верно сказалось у Пастернака: «Сестра моя — жизнь». Жизнь как целое — всегда сестра, в большей степени, чем мать или жена. Мать покидает нас в середине жизненного пути; жена присоединяется на той же середине, раньше или позже. Отсюда разобщенность — либо во второй, либо в первой половине жизни. Но с жизнью, как с сестрой, не может быть разлуки. С начала и до конца она верная спутница всем живущим — с ней приходишь на свет и с ней, состарившейся, уходишь в могилу. Если люди на земле — братья, то жизнь — их старшая сестра, любимая дочь-первенец, родившаяся прежде всех других земных созданий, поставленная Отцом во главу творения. Жизнь — «премудрость Божья», которая, по словам притчей Соломоновых, веселится на земном кругу Его, и радость ее — с сынами человеческими (см.: Притч. 8: 31).

Вот что радостно — долгота пути, который вместе с тобой, как с сестрой, пройдет будущее дитя; вся полнота его земного срока может вместиться в твое сестринство. Ровно теплится на всю жизнь эта изошедшая из общего чрева теплота.

4

Теперь я лучше понимаю тот страх перед вторым ребенком, которым вначале обозначилась моя тоска по нему. Весной, когда дочери пошел девятый месяц, я вдруг начал думать о нем, представлять его, но боялся себе в этом признаться и не мог даже представить, что появится кто-то, с кем я делил бы свою любовь к дочери.

Вот первая, 9 марта 1980 года, запись о нем в моем дневнике:

«Не представляю, как мог бы я завести еще одно дитя, вдобавок к любимой девочке. Как раздвоить себя? Не то же ли самое, что еще одну жену завести, душу размножить на несколько душ? Как одною любовью любить нескольких?»

И даже составилась у меня теория: как человечество перешло от многобрачия к единобрачию, так, одухотворяя и олицетворяя постепенно силу рода и совершенствуясь в индивидуальной любви, перейдет оно и к *единочадию,* побеждая попутно голод, нищету, тесноту и прочие ужасы перенаселенности, происходящие от первородного греха. Если в каждой семье будет только одно дитя, то с каждым поколением человечество будет убывать наполовину. Это приведет через тридцать три нравственно возрастающих поколения и тысячелетнее царство родительской любви к последней и всесовершенной супружеской чете. Она останется бездетной, чтобы не обрекать единственное дитя на одиночество, и положит конец земной истории, произошедшей от греха; а возможно, окажется достойной вернуться в утраченный рай.

Господи, как я далек теперь от этой бедной, арифметически расчисленной фантазии! Правда, наверно, была в том, что я не хотел делить свою душу, пока ты нуждалась в ней целиком. Но что-то новое уже нарастало между нами — помнишь, ты испытала чувство вины, во мне возник твой судья, гневный и карающий, наша любовь стала расходиться на два долженствования… И вот я почувствовал, что тебе нужна душа кого-то равного, кто не осудит тебя, разделит нехитрые радости детства, — душа брата, с кем рука об руку сможешь ты идти свой путь.

Тогда — или еще раньше, в конце зимы, когдаты заметно выросла и стала незаметно отдаляться от меня, когда даже в твоем присутствии я ощущал разлуку с тобой, ностальгию по твоему прошлому, — потребность в новой близости уже коснулась меня, но я отогнал ее как угрозу еще большего твоего отдаления. Я не понимал, что стремления наши могут совпасть в самом их разладе, что встать между родителями и тобой сможет

лишь тот, кто станет ближе всего и тебе, и нам.

И лишь летом, в нарастающей тревоге, открылось мне, что мы, уходя друг от друга, встретимся именно в том, к кому уходим, потому что он будет мне сыном, а тебе братом. И если уж настал черед отдаления дочернего от отцовского, то пусть я разделю тебя с тем, кто сам будет частью меня; я дам тебе возможность разлуки, равной новому соединению.

В этом и есть путь — уходить не в чужой мир, а в расширенное родство. Расходясь, мы будем возвращаться друг к другу; я приду к тебе в образе брата и пройду рядом не половину, но всю твою оставшуюся жизнь. Разве это не способ догнать тебя, остаться с тобой — вернее и ближе, чем это может сделать отец, всегда отстающий, исчезающий в прошлом?

Тогда мое желание другого ребенка, поначалу затаенное в тревоге за тебя, стало уже неотвязной мыслью и зреющим решением. Чья-то душа просилась к нам. Та скука и пустота ранней осени, вокруг которой мы с тобой объединились почти по-братски, — не очертилось ли ею место того, кто должен был возникнуть среди нас, кого нам недоставало? Дух, чтобы воплотиться, должен сначала освободить место для себя. Это братство тоски, недавно сплотившее нас, уже было тоской по истинному братству — такому, где моя участь не стать братом тебе, но родить тебе брата.

…И еще одна радость, наиболее осязаемая: Олины рубашечки и штанишки, пеленки и распашонки, из которых она уже выросла, вновь впитают тепло и запах новорожденного тела, вернутся из тех ящиков и коробок, куда вдруг оказались выброшенными после каждодневного служения. Жизнь возвращается в покинутые пределы, от которых отступила, казалось, навсегда.

5

Пойми: мы хотели и ждали *его,* потому что были счастливы тобой. Нет большего блага для плотских существ, чем плоть свою давать другим, невоплощенным, делиться с ними главным, из чего состоит жизнь. Все последующие дары: ума, богатства, славы — не сравнятся с этим.

Жажда воплощения, которая привела тебя к нам и стремительно растила день за днем, — нам захотелось и в другой душе ее утолить, чтобы не кончалась твоя беззубая улыбка, беспомощное барахтанье, бессвязный лепет… Когда мы пытались представить *его,* перед нами неотступно вставал *твой* уходящий младенческий образ.

Мы хотели, чтобы новая жизнь не кончалась, но, продолжась, она будет все-таки другой, совсем новой жизнью, и теперь я думаю: кем ты будешь в ней, моя маленькая, сразу повзрослевшая до старшей; моя единственная, вдруг превратившаяся в сестру? Какое место достанется тебе в расширенном кругу новой семьи, в заботах твоего нового возраста?

Второе дитя появится — но ведь это ты станешь второй. Он будет первым по заботе, вниманию, хлопотливому окружению, радостной толкотне. Ты как будто осиротеешь: приобретя сестру или брата, слегка потеряешь родителей, они вдруг станут не совсем твои. Мне вдруг увиделось твое побледневшее лицо, погрустневшие глаза и вся ты, чуть вытянувшаяся и похудевшая, словно отрок-переросток, уже познавший внутри семьи неласковость мира, в котором ты — не главная, не единственная.

Но такой — незаласканной, притаившейся, будто бы менее любимой — я еще больше люблю тебя.

Один Бог, одна жизнь, одна душа — как же ты не одна? Долго еще я буду понимать это и не понимать…

Москва, 5 февраля 1979 г. — 26 сентября 1980 г.

Послесловие

Олин вопрос

Десять лет уже Оле. Она знает, что когда-то я написал о ней книгу. И однажды наклоняется над одним из листков на моем столе.

— Это ты про меня писал? Ты любил меня тогда?

Тогда… Значит, любовью она до сих пор называет то, что было тогда. И то, что видит сейчас: как я милуюсь с младшим нашим, годовалым Женей. Это и остается любовью.

А для меня — что остается из пережитого? Пожелтела бумага тех дневников, перепутались воспоминания о трех младенчествах, отбежавших, отшумевших: Олино, Митино, Петино… Вот и четвертое пустилось им вдогонку, на чуть еще заплетающихся ножках. Нахлынуло, проплыло сквозь меня и плещется уже где-то вдали…

Но остаются, как будто рождаясь каждый день, из ничего, — любовь и вина. И чем больше любовь, тем больше вина. И чем больше вина, тем больше любовь.

Священник Владимир Зелинский
Отцовство как исповедание

Отцовство — здесь, в книге, которая лежит перед нами, — и опыт, и состояние души, и философия, и даже исповедание. Но прежде всего оно есть новое качество жизни, обращенной, прикованной к другому человеческому существу. Жизнь, наполненная радостью о другом, называется любовью. «Любовь сорадуется истине», — говорит апостол Павел, ибо одарена тем особым зрением, которое открывает нам истину другого и нас самих. Сразу, с первых же строк своей книги автор вводит нас в «сюжет» этой радостной истины, указывая на религиозный исток своего замысла:

«Отцовство — ближайший и доступный каждому человеку, независимо от профессии и таланта, опыт прямой сопричастности миротворению. Становясь отцами, мы начинаем постигать тайну создания нас самих. Предварить эту книгу хочется словами апостола Павла: „Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его“ (Кол. 3: 9-10). Рождая и постигая новорожденное во всей его поражающей новизне, отец сам обнаруживает в себе образ предвечного Отца — и обновляется по этому образу вместе со своим творением».

Мировая литература наполнена историями о любви, которые простираются от земли до неба — как «Божественная комедия», оканчиваются гибелью влюбленных — как «Ромео и Джульетта», состоят из разных увлекательных авантюр — как «Манон Леско». Но много ли мы знаем поэм или трактатов, содержанием и двигателем которых была бы любовь отца к своему ребенку? Не ко взрослому чаду, которое уже встало на ноги и обзавелось собственной личностью, волей, судьбой, но к тому созданию, которое еще пребывает в возрасте, лишенном устоявшейся, образующей нашу взрослость памяти? «Перед восходом солнца», если вспомнить о книге Зощенко, считавшего солнцем пробудившееся сознание. Именно этот возраст служит отправной точкой для путешествия автора к новорожденной дочери, но также и к самому себе. Солнце, которое светит в ребенке, притягивает родителей задолго до проблесков зари, до пробуждения мысли, с которой мы готовы вступить в словесное общение. «Любовь, что движет солнце и светила», узнает их свет в чуде бытия человеческого детеныша. Отец вступает в особую беседу с ребенком, и она начинается еще до его рождения. Эта

спонтанная беседа, в которую вовлекается и читатель, делает книгу по-своему уникальной.

Русская литература, по давнему наблюдению Виктора Шкловского, состоит большей частью из писем о любви. «Отцовство» в этом смысле следует законам жанра: это нескончаемый разговор с любимым существом. Объяснение в любви нередко переходит в исповедь. Исповедь для того, чтобы ей состояться, нуждается в надежном свидетеле. Свидетель или соглядатай — тот, кто «невидимо стоит, приемля» чужую душу, и ручается за подлинность сказанного. Руссо выбирает свидетелем свою чувствительность, Толстой — совесть, Августин — то интимное «Ты», в котором ему открывается лицо Божие. Надежность, крепость, искренность исповеди подтверждается не столько словами, в нее вложенными, сколько реальным присутствием свидетеля. Исповедание «Отцовства» Михаила Эпштейна обращено к младенцу, который — рождаясь, возникая, собираясь жить — пробуждает внутреннюю речь отца. И тем самым делает его уже отчасти иным по отношению к «ветхому человеку», которого он как бы «совлекается» в исповеди. В таком обновлении — свидетельство того, что исповедь состоялась, «сбылась», как говорит Цветаева. Дитя рассказывает отцу о себе, становясь свидетелем его возникающего отцовства. И в этом фабула книги.

Вглядываясь в ребенка и рассказывая ему и себе о своей любви, человек обнаруживает свое младенчество, и мир словно обновляется в нем. «Мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение», — говорит романист Пауло Коэльо. Пусть нас не соблазняет эта с виду симпатичная формула: она лишь выражает основной закон падшего мира — закон солипсизма. Тот, что называется «миром», состоит, по сути, лишь из разноцветных проекций нашего ветхого «я». «Совлечение ветхого человека» — по слову Апостола — начинается с открытия ближнего, с узнавания его в Боге и делах «рук Его». Но что бывает ближе рожденного нами ребенка? Автор «Отцовства» учится узнавать его в себе, находит себя в отражениях младенчества, подносит их к свету, разглядывает сквозь «магический кристалл» мыслящего взгляда. Он — мастер любящего наблюдения и словесного рисунка, вырастающего из внутреннего диалога. Диалога с ребенком, но не только. Ибо вся эта книга «безмолвно» обращена к Отцу, Который познает нас в Своем творении. Общение с Ним возникает тогда, когда мы стараемся разгадать Его мысль. Вспомним еще раз апостола Павла: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как

бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13: 11–12).

Автор книги пытается, насколько это возможно, узнать себя в отражениях младенчества. Но, оставив младенческое, его взрослое узнавание проходит через этапы, начиная от диалога с ребенком, еще пребывающим во чреве, вплоть до нового узнавания — чуть подросшей героини книги, но уже как будущей старшей сестры. «Авторы, пишущие о детстве, — говорит Михаил Эпштейн, — обычно обходят стороной или минуют самое его начало…» К тому же авторы, пишущие о детстве, чаще всего пишут о себе, переносят свой взгляд с другого на себя. Старательно, страстно они делают раскопки в самих себе, чтобы добыть давно ускользнувшие воспоминания, интересуясь другим лишь как зеркалом. В этой книге земной отец также наблюдает за собой, но прежде всего хочет понять и увидеть по-настоящему своего младенца. И он находит тот младенческий язык вещей, взглядов, прикосновений, который позволяет ему встретиться на несколько мгновений с миром лицом к лицу, с миром, каким он был создан.

Эти мгновения заботливо собраны в книге. Они уложены в своего рода мозаику, или, скорее, витраж с удивительными и довольно прихотливыми изображениями, в которых какая-то непреходящая старина, старина как покой и вечность, соединяется с утонченностью, взволнованностью, рефлективностью нашего современника. Но главное все же заключается не в этом рисунке, но в том свете, который проникает через него, просачиваясь через отдельные слова, неожиданные открытия. Таких открытий здесь множество; изумительно, например, истолкование заповеди любви к ближнему как любви к ребенку в нем или молитвы как самопожертвования. Впрочем, автор довольно осторожен, по-своему целомудренно боязлив в обращении с «божественными словами» или богословскими экскурсами, он дает Богу высказываться в розановской «частной жизни», не навязывая Ему наших мыслей и звучных имен, но лишь следуя по следам Его, оставленным в собравшемся жить существе по имени Оля.

«Становление бытия» этого существа хранит в себе тайну, которая раскрывается, не переставая быть самой собой, лишь тогда, когда мы узнаем ее не в себе, не в своем зеркале, а в другом. Вглядываясь сквозь тусклое стекло, гадательно, в чудо творения, автор так близко подносит его к своим и нашим глазам, что позволяет нам узнать самих себя — не только в своем детстве, конечно, но в вечном детстве Бога, вложенном во всякого

ребенка. Как и всякое настоящее открытие, оно совершается любовью, хотя автор не так уж часто поминает о ней, ибо объяснять и провозглашать то, что уже вложено в образ, было бы избыточным, чтобы не сказать болтливым.

Эта книга выходит в свет, когда общественные разговоры о кризисе семьи становятся все более частыми и как бы само собой разумеющимися. «Отцовство», понятно, не вступает в эти разговоры и не собирается с кем-либо спорить. Оно лишь рассказывает о том новом качестве, пожалуй даже призвании, которое пробуждается в человеке вместе с появлением ребенка и ставит отца в особые отношения с тайной существования человека. Задача этой книги, нигде, конечно, не заявленная громогласно, — в том, чтобы разделить с читателем опыт самопознания автора в любимом существе и тем самым научить нас любить. Научить узнавать себя в качестве отцов, но также и матерей, чье соприкосновение с Богом в акте творения жизни еще интимнее и глубже. Когда-нибудь и эта глубина должна будет найти себя в исповедании материнства, подобно тому как о даре отцовства рассказано в этой книге.

Указатель имен и мотивов

Римские цифры указывают на номер главы, арабские — на номер фрагмента.

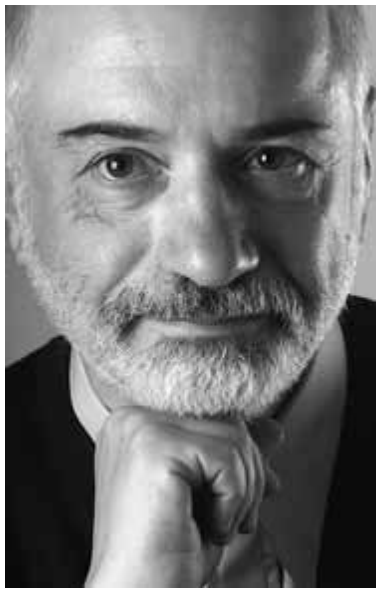
Бердяев, Николай («Самопознание») VI, 2
Бесовство XIV, 6-8
Богатырство V, 3
Болезнь VII, 4
Боль IX, 6; XIII, 1
Братство и сестринство XVI, 1-5
Бунин, Иван («Жизнь Арсеньева») VII, 9
Бутылка и ложка IX, 2
Вечно-дочернее IV, 7
Вещи (в окружении и восприятии ребенка) VIII, 1; IX, 1; X, 2; XI, 2, 7; XIV, 1; XV, 1
Взгляд, глаза V, 10; VII, 3
Взрослый как дитя XIII, 5-9
Влага, вода, жидкость V, 5, 11; XI, 6
Возраст VII, 2; XIII, 2
Воскресение XIII, 3
Воспитание IX, 2-5
Время V, 4; XI, 1; XIII, 2, 8; XV, 8
Второй ребенок XVI, 3-5
Гипербола V, 3
Глотание, поглощение XI, 3-5
Гнев, ярость XIV, 4-8
Гость, гостеприимство II, 8
Грех XV, 2-3
Данте, Алигьери IV, 7; XIII, 2
Дача и город III, 6, 8
Дедушка X, 3, 4
День и ночь III, 1–3; VII, 7, 8
Детство как страдание VII, 9, 10
Дневник (жанр) II, 4; XIII, 9; XIV, 1
Дочь, дочернее IV, 3, 7; дочь и сын II, 6
Дрожь XIV, 2-3
Душа и тело IV, 4; V, 9; IX, 1
Дыры и щели XI, 7
Дыхание I, 1; II, 9
Еврейство VI, 3, 4
Жесты, позы, телодвижения
«взлет» II, 5

лизание XI, 2
навзничь и ничком V, 5; VIII, 2
ползание IX, 9
потуги и потягивание V, 2
размазывание слюны XI, 6
сдвигание предметов VIII, 1
сжатие и разжатие ладони VIII, 3
см. также Тело
Животные
волк XI, 4
крокодил XI, 5
Запах II, 10
Зеркало V, 8; VII, 1
Книга VIII, 4
Кормление, питание IX, 2; XIII, 4
Купание V, 5, 11
Лермонтов, Михаил («Выхожу один я на дорогу…») II, 9
Лицо II, 2; V, 1; VI, 3
Любовь II, 7; XI, 2; XIII, 5-8
«любить ближнего как свое дитя» XIII, 6–8 см. также Родительская любовь
Мать и отец единство в ребенке VI, 2, 6; XII, 1
«мама» и «папа» (слова) XV, 2-3
разные отношения к ребенку I, 2; III, 7; VI, 4; XIV, 7
Мифология II, 2–4; XIV, 1 и философия II, 3
Молитва I, 5-7
Наказание XIV, 4-5
Настроение III, 1
Национальное VI, 3, 4
Ностальгия I, 4; IV, 4; IX, 7
Одежда IX, 1; XVI, 4
Осязание XI, 2, 7
Отец, отеческое (как богословское понятие) X, 3; XIII, 5–9; XIV, I, 5–7; XVI, 1, 2
Память VII, 5, 8; XV, 7
«Папа» VII, 1 и «мама» XV, 2-3
Педагогика XIII, 3
Первые воспоминания VII, 5-8
Первые слова XV, 2-3
Первые шаги XV, 4–6, 8
Первый зуб IX, 5-6
Плач III, 2–3; VI, 3; XIV, 10
Плод (в матери) I, 1–3, 8; III, 7
Плоть IV, 1–3; IX, 1; XIII, 4

Поле III, 6; XV, 11
Постель IX, 11
Приметы V, 8
Природа и цивилизация III, 8; IX, 5, 7
Прятки VIII, 5
Пустота I, 2; III, 6; XI, 7; XV, 9, 11
Путешествие I, 3
Ребенок и вещи VIII, 1; IX, 1 и общество II, 8; XII, 2–3; XIV, 6 как «сюжет» VI, 7
как тайна III, 3–5; XI, 3
как урок и учитель II, 7; IX, 6; XII, 2–3, XIII, 3; 5-8
Речь XII, 2; XV, 1-4
и ходьба XV, 4
Род VI, 5
и личность VI, 2
и родина I, 4
Родители глазами ребенка VII, I; XV, 6-7
Родительская любовь в сравнении с братской и сестринской XVI, 1-3
в сравнении с любовью к внукам X, 2, 3, 5
в сравнении с половой и супружеской IV, 1, 3-7
телесность любви IV, 1-4
Родительские ожидания и представления о детях II, 6-7
Родительский страх III, 2–3, 10; XI, 3; XII, 4–5; XVI, 4
Роды I, 7, 8; V, 2
Рождение и самоубийство VI, 1; VII, 9
Самосознание V, 7, 9; VII, 2, 8-10; XI, 9
Сестра, сестринское XVI, 3
Сказка и ее персонажи (волк, крокодил) XI, 4-5
Скука, томление, тоска, хандра I, 2, 3; XV, 9-11; XVI, 4
и стыд VII, 8
Смех и улыбка VIII, 6
Соловьев, Владимир («Смысл любви») IV, 6 Сон III, 2, 3;V, 2; VII, 3, 7, 10
Соска IX, 3
Стадии развития V, 4; VIII, 1; XIV, 10; XV, 8
Тело
волосы II, 10
зубы IX, 5-6
ладонь VIII, 3
нога V, 7, 9;
палец XI, 7
«пузырь» V, 11
пупок XI, 8, 9

рука VIII, 1, 3
слюна XI, 6
шея V, 6
см. также Жесты, позы, телодвижения
Терпение XIV, 8-9
Философия и мифология II, 3
и педагогика XIII, 3
Ходьба XV, 4-6
Чуковский, Корней («Сказки») XI, 5
Шекспир, Уильям («Король Лир») IV, 5
Эмбриология II, 3
Этическое IX, 6; XVI, 1
Юность X, 4 «Я» II, 1; VII, 1–2; XIII, 4, 8

Об авторе



Михаил Наумович Эпштейн — философ, культуролог, литературовед, эссеист. Родился в Москве в 1950 году, окончил филологический факультет МГУ в 1972 году. Член Союза писателей с 1978 года. Член российского Пен-центра и Академии российской современной словесности. Профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта, США) и Даремского университета (Великобритания). С 2012 года возглавил в Даремском университете Центр гуманитарных инноваций.

Автор 30 книг и более 700 статей и эссе, переведенных на 18 иностранных языков.

Отец четверых детей.

В настоящее время живет в Великобритании.

Основные темы исследований: методология гуманитарных наук, постмодернизм, поэтика, философия модальностей, семиотика повседневности, проективная лингвистика, перспективы развития мышления и языка, религия в современном обществе.

Лауреат премии Андрея Белого (1991), премий журналов «Звезда» (1999) и «Знание — сила» (2011), международного конкурса эссеистики (Берлин — Веймар, 1999), премии Liberty за вклад в русско-американскую культуру и развитие культурных

связей между Россией и США (2000).

Создатель нескольких известных сетевых проектов, таких как «Дар слова», «Слово года», «ИнтеЛнет», «Книга книг (Интерактивная антология альтернативных идей)», «Веер будущностей».

Печатается на русском и английском языках. Основные издания на русском:

«Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков» (1988).

«Природа, мир, тайник вселенной…». Система пейзажных образов в русской поэзии (1990).

«Новое сектантство: типы религиозно-философских умонастроений в России. 1970-1980-е годы» (1994).

«Знак пробела. О будущем гуманитарных наук» (2004).

Все эссе. В 2 т. (2005).

«Постмодерн в русской литературе» (2005).

«Слово и молчание. Метафизика русской литературы» (2006).

«Sola Amore: Любовь в пяти измерениях» (2011).

«Религия после атеизма. Новые возможности теологии» (2013).

Роман-эссе «Отцовство» впервые был опубликован на немецком языке под названием «Дневник для Ольги» (Tagebuch fur Olga. Chronik einer Vaterschaft) в 1990 году. На русском языке — в Нью-Йорке в 1992 году, в 2003 году издан в России. В 2001 году вышел сербский перевод.

Об издательстве

«Живи и верь»

Для нас православное христианство — это жизнь во всем ее многообразии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно для этого мы издаем книги.

В мире суеты, беготни и вечной погони за счастьем человек бредет в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо — это изменение человеческой души. От зла — к добру! От бессмысленности — к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!

Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в многосложном современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни.

Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помогут найти главное в своей жизни!

notes

Примечания

1

Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука, глава «Отрывочные воспоминания»; Бунин И. А. Жизнь Арсеньева, книга первая, главы 2–5.

2

Marcel Gabriel. The Creative Vow as Essence of Fatherhood / Homo Viator: Introduction to a Metaphysic of Hope, trans. Emma Craufurd. Chicago: Henry Regnery 1951. P. 122. Ответ самого Марселя дан с позиций католического экзистенциализма: «Я могу наделить существованием кого-либо другого не более, чем самого себя… Наш ребенок принадлежит нам не больше, чем мы принадлежим себе, и следовательно, он существует не ради нас и более того — не ради самого себя» (тамже, с. 120). Эссе Габриеля Марселя «Творческий обет как сущность отцовства» — один из немногих опытов расширительного толкования биологического отцовства как теологической категории.

3

Эта книга писалась в Москве в 1979-1980-х годах. Я благодарен Елене за совместные размышления, из которых рождались многие записи. Я признателен своим детям, Оле и Мите, за то, что в конце 1990-х годов они набрали текст этой книги на компьютере.

4

О. Мандельштам. «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…»

5

И. В. Гёте. «Блаженное томление», из цикла «Западно-Восточный диван»; перевод Н. Н. Вильмонта.

6

Шекспир У. Король Лир, акт 1, сцена 1; перевод Б. Пастернака.

7

Шекспир У. Король Лир, акт 1, сцена 1; перевод Б. Пастернака.

8

Там же, акт 1, сцена 4.

9

Соловьев Вл. Сочинения; 2-е изд. В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 509–510. Характерно, что родительскую любовь Владимир Соловьев твердо отождествляет с материнской, ни словом не упоминая об отцовской любви, что должно добавить правдоподобия его аргументу о физиологической ограниченности родительских чувств. Но если слепая, безрассудная материнская любовь есть и в самом деле наследие «любви куриной», то в сознательном своем выражении родительская любовь — в особенности отцовская — восходит к образу той любви, какую Небесный Отец питает к Своим земным созданиям, о чем Соловьев, конечно, должен был вспомнить как теолог и теософ.

10

Алигъери Данте. Новая жизнь / Малые произведения. М.: Наука, 1968. С. 9.

11

Аристотель. Поэтика, 9.

Бэр фон К. Избранные работы. ГИЗ, 1924. С. 50.

13

Бердяев Н. Самопознание. 3-е изд. Париж: ИМКА-Пресс, 1989. С. 12.

14

Бердяев Н. Самопознание. 3-е изд. Париж: ИМКА-Пресс, 1989. С. 12.

15

«…Захотел Бог облагодетельствовать Тевье и благословил его семью дочерьми — одна другой лучше, умные, красивые, крепкие…» *(Шолом-Алейхем.* Собр. соч. В 6 т. М.: Художественная литература, 1988. Т. 2. С. 186–187.)

16

«…Поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, — он кончался в этой комнате и думал обо мне… И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец…» *(Бабель И.* Избранное. М.: Художественная литература, 1966. С. 28.)

17

Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Юность / Собр. соч. В 9 т. М.: Художественная литература, 1966. Т. 6. С. 9.

18

Ф. И. Тютчев, стихотворение «Колумб».

19

Как отмечает В. Пропп, «рассмотрение подобных мифов дает право сделать следующее заключение: пребывание в желудке зверя давало вернувшемуся магические способности, в частности власть над зверем. Вернувшийся становился великим охотником… Еда дает единосущие со съедаемым». (Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. Глава 7: «У огненной реки», раздел 14: «Смысл и основа этого обряда».)

20

Стихотворение Ивана Жданова «Портрет отца», из его сборника «Портрет» (М.: Современник, 1982).

21

Лао-цзы. Дао Дэ Цзин, раздел 57.

22

Начальные строки «Божественной комедии» Данте.